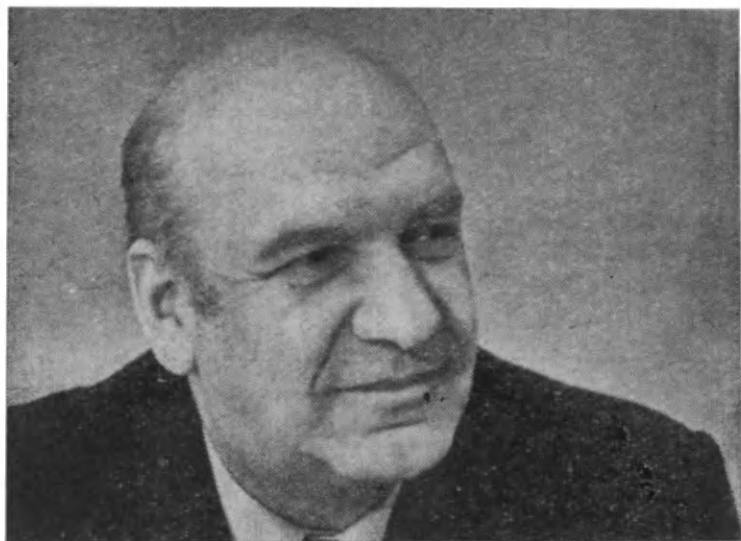




Василий Осокин

ПЕРМСКИЕ ЧУДЕСА





Василий Осокин

ПЕРМСКИЕ ЧУДЕСА

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Москва
«Молодая гвардия»
1979

P2
0—75

Scan+DjVu: AlVaKo
09/05/2024

$\frac{70803-178}{078(02)-79}$ 219—79. 4800000000

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

Дорогие читатели!

В этой книге вам часто встретится слово «поиск» или «творческий поиск». Казалось бы, слово это не требует объяснения. И все же как много стоит за ним!

Писатель Сергей Сергеевич Смирнов посвятил годы поискам защитников Брестской крепости. Нелегко было разыскать чудом уцелевших героев, разъехавшихся после войны по стране, записать все подробности великой эпопеи Бреста. Но книга «В поисках героев Брестской крепости» была писателем создана и получила всеобщее признание, а герои, потерявшие друг друга, считавшие своих однополчан погибшими, вновь встретились.

Широко известны устные рассказы Ираклия Андроникова, его выступления по радио и телевидению, его книги. Писатель нашел много неизвестных ранее документов о жизни и творчестве великого русского поэта Лермон-

това. Теперь мы знаем о нем больше, представляем его живее.

Книг, в которых писатели рассказывают о своих творческих поисках или различных разысканиях других ученых, исследователей, выпущено немало. К ним относится и эта книга.

Ну а могут ли участвовать в серьезных творческих поисках ребята-школьники? Безусловно. Ученики одной из московских школ вместе с учителем ежегодно ездят в археографические экспедиции. Археография — описание и издание древних памятников письменности. Ребята во время экспедиции отыскивают старинные рукописи, передают их в научно-исследовательские институты. На основе таких находок ученые пишут научные работы. Так исчезают некоторые «белые пятна» отечественной истории.

Ираклий Андроников в одной из книг рассказывает, что ребята из поселка Кунцево, где когда-то жил Аркадий Гайдар, решили проверить, не осталось ли в доме каких-либо его рукописей, книг, фотографий. И нашли там письма, адресованные Гайдари, его командировочные удостоверения и другие документы, а главное, неопубликованный очерк писателя. Все это хранится теперь в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ).

Студенты техникума города Мичуринска обнаружили во дворе старый дневник. Его автором оказался чиновник, служивший вместе с Пушкиным в Кишиневе. Дневник содержал новые важные сведения о поэте. находку отправили в Москву, в Литературный музей,

а спустя несколько лет рукопись была напечатана.

Ученики Красноборской средней школы Архангельской области отослали хранившиеся в их семьях рукописные сборники XVIII века в Ленинград, в Пушкинский дом.

Не всегда равновелика научная ценность подобных находок, но всегда люди, участвовавшие в поисках, проводили интереснейшие дни, духовно обогащались в процессе этой работы.

К сожалению, бывают и другие «поиски». Желая отыскать библиотеку Ивана Грозного (о ней вы прочтете в этой книге), ребята самовольно стали копать землю возле старинного храма. Еще немного, и ценнейший памятник культуры мог бы рухнуть и придавить «изыскателей».

Я знаю, что некоторые школьники тайно раскапывают берега Днепра в низовьях, где когда-то были греческие колонии, в надежде найти античные монеты. Но ведь утаенные ребятами монетки навсегда пропадают для науки....

В процессе настоящего творческого поиска рождаются гипотезы, то есть предположения, основанные на фактах. Рассказывая о том, как они выдвигаются, призывая читателей к созданию собственных гипотез (в частности, в области литературы и искусства), я хотел бы предостеречь некоторых юных читателей от выводов необоснованных, от верхоглядства и самомнения, граничащих с невежеством. Вместе с тем подлинный ученый, высказывая свою гипотезу, зачастую допускает возможность и других глубоко продуманных выводов,

понимая, что только при сопоставлении разных точек зрения можно добиться правильного решения.

Некоторые ребята жалуются на скуку, на отсутствие поблизости в городе или поселке театров, музеев и т. п. А между тем как раз в отдаленных от больших городов местах зачастую и находятся подлинные сокровища культуры, умей лишь их видеть, слышать, собирать. Я уж не говорю о древних памятниках искусства, беречь и изучать которые наш долг, — ведь в большинстве случаев они свидетели героической истории Родины, без знания которой нельзя быть настоящим патриотом. А хочется сказать хотя бы о том, что едва ли не в каждом маленьком городке или недалеко от него сохранились еще легенды и предания, песни и сказки. Легенды... А может, подлинные были? Не сегодня-завтра они исчезнут, а с ними уйдут целые пласты истории и культуры прошлого. Не предавайте же их забвению, записывайте и изучайте.

А теперь добро пожаловать в мир поисков, гипотез и легенд!

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

Иван Бунин



**ВОКРУГ
КНИГ**

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЛИБЕРЕЯ

1. Звонок к археологу

В 1947 году я работал корреспондентом газеты «Вечерняя Москва». Приближалось 800-летие столицы, и газета начинала печатать юбилейные статьи по истории города.

Однажды в редакционном коридоре меня остановил литературный секретарь газеты Александр Александрович Соколов.

— Побывали бы вы у археолога Игнатия Яковлевича Стеллецкого. Он в 1930-х годах вел в Москве раскопки, искал так называемую либерею царя Ивана Грозного. Твердо был убежден, что эта библиотека, состоявшая из ценнейших античных рукописей, не только существовала, но и сохранилась в подземельях Кремля. Побеседуйте с ним и, если что есть новое, интересное, хотя бы в перспективе, напишите для газеты... Ну, пойдемте в мой кабинет, отыщу адрес.

Через час я уже стоял перед ничем не примечательным двухэтажным домом на улице Герцена. Царили ранние январские сумерки. Звонок был старого, «допотопного» типа — железный прут с деревянной ручкой.

Дернул раз, второй, третий. Наконец наверху что-то зашуршало, лестница заскрипела под тяжестью спускавшегося, дверь приоткрылась на цепочку.

— Кого?

— Мне нужен археолог Стеллецкий. Я корреспондент «Вечерней Москвы».

Дверь открылась. Передо мной стоял высокий прямой старик в засаленной телогрейке и валенках, без шапки. Седенькая бородка клинышком, необыкновенно живые темные глаза...

— Пойдемте!

Я шагнул за хозяином. Но в это время погасло электричество.

— Опять, — досадливо проворчал старик. — Ну ладно, держитесь за меня.

Сверху донеслось:

— Может, ко мне сначала?

— Что ты, Маша, он не маленький, не испугается.

Эти слова несколько удивили меня, но думать было некогда, нужно шагать за хозяином... Вот мы уже поднялись.

— Левее, левее, сюда. Так. Здесь диван, не споткнитесь. Теперь можно садиться. Только осторожно, пружины выпирают.

Я нащупал руками местечко и присел на диван.

— Скажите, — прозвучал у меня над ухом знакомый голос, — за эти полтора послевоенных года вам не приходилось бывать в Эстонии, например, в городе Пярну?

— Нет, — удивился я. — А что?

— Никак не могу узнать, разрушено ли там здание архива, что в сквере рядом с памятником поэтессе Лидии Койдулы... Впрочем, сие длинная история.

В этот момент зажегся свет. И здесь я чуть не подпрыгнул со страху. Над шатким письменным столом — два черепа с кроваво-красными глазами, — в них вставлены крохотные электролампочки. В больших ящиках у стены явно человеческие кости. Стены и даже потолки расписаны изображениями скелетов. От всего, казалось, веяло могильной сыростью.

Я никак не мог прийти в себя. Стеллецкий был недоволен.

— Я думал, корреспонденты столичной прессы народ более подтянутый... Сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Тем более!

И, видя мое недоумение — зачем, мол, все это здесь нагромождено, — вдруг встал и многозначительно произнес:

— Через все это должен пройти каждый, кто по-настоящему отважится совершить подвиг отыскания библиотеки Ивана Грозного. Цель великая... А в соседней комнате увидите то, что ожидает этого героя и счастливца. Идемте.

Он крепко взял меня под руку. Мы вошли в соседнюю комнату. Стены ее были голубые. Художник (как вскоре выяснилось, сам Стеллецкий) изобразил беломраморные бюсты каких-то мудрецов и поэтов, фигуру музы с арфой в руках.

После промозглого склепа здесь было отрадно. А когда жена археолога, Мария Михайловна, угостила еще и чаем с вареньем, неприятная тягота и вовсе прошла.

Так я стал бывать у Игнатия Яковлевича Стеллецкого, и с каждым разом все шире и все глубже раскрывалась его необычайная жизнь и удивительные поиски.

2. Максим Грек, профессор Дабелов и другие

Не забыть мне тех зимних вечеров 1947 года. С нетерпением ждал я каждой встречи с «неистовым кладоискателем», как прозвал Стеллецкого писатель Роман Пересветов, которого я иной раз встречал в этой удивительной квартире.

— Сын беднейшего украинского псаломщика, я окончил Киевскую духовную академию, и мне предстояла карьера священнослужителя. Но меня больше увлекала археология, раскопки знаменитых киевских пещер, в которых согласно легендам хранились таинственные клады. Увидав такое мое стремление, академическое начальство направило меня на археологические раскопки в Палестину, где действовало Русско-Палестинское библейское общество. Там, между прочим, я обнаружил остатки города Иотапаты, описанного еще автором «Иудейской войны» Иосифом Флавием. Окончил я и незадолго перед тем основанный Московский археологический институт. Но все началось с того, что мне попалось исследование профессора Сергея Белокурова «О библиотеке московских государей в XVI столетии», изданное в 1898 году. Вот она, эта знаменитая и злополучная книга!

Стеллецкий в сердцах шлепнул ею об стол. Впрочем, сейчас же снова взял и раскрыл на нужном месте. Я успел заметить многочисленные отметки разноцветными карандашами: подчеркивания, галочки, знаки вопросов и восклицаний, латинские «Sic!» и русские «нет!».

— В сей книженции приводится выдержка из «Сказания о Максиме философе, иже быть иноку Святые горы Афонские». Максим Грек, как человек весьма ученый, был в свое время приглашен великим князем московским Василием Третьим для переводов каких-то книг на русский. Я тоже это «Сказание» буду вам переводить на современный язык, ибо, сдается мне, вы не очень сильны в церковнославянском. А как бы в скобках буду давать необходимый комментарий.

Стеллецкий торжественно и медлительно начал:

— «Однажды великий государь Василий Иоаннович вводит его (то есть Максима Грека) в свою царскую книгохранилищу и показывает ему бесчисленное множество (запомните, уважаемый корреспондент «Ве-

черней Москвы», бесчисленное множество!) греческих книг. Сей инок весьма удивлен был, видя такое множество трудолюбивого собрания, и поклялся перед благочестивым государем, что даже в Греции такое множество книг видеть не сподобился... Когда безбожные турки овладели царствующим городом (речь идет о Византии, захваченной турками в 1453 году), тогда некие благочестивые люди взяли много греческих книг, да не до конца угаснет светило греческого православия, отплыли с ними (то есть с книгами) в Рим». Делаю небольшой пропуск. И наконец последняя фраза: «Православный государь Василий, самодержец, я никогда не видел столько книг греческого любомудрия, сколько собралось заше царское рачение о божественном сокровище». Великий государь Василий Иванович выслушал его и предложил ему на рассмотрение взять книги, которые еще не были переведены на русский язык».

— И что же, перевел их Максим Грек? — нетерпеливо спросил я Стеллецкого.

— Эх, мой друг! Чему вас только в школе учили? Разве не знаете, что Максим Грек вскоре был осужден за так называемую ересь и многие годы провел в заточении? Не до переводов ему было!

Я уже заметил эту привлекательную черту Стеллецкого. Пожурит, а то и вовсе возмутится невежеством собеседника и тут же оттаит, ласково так взглянет, как бы ничего не случилось. Так и сейчас. Через минуту он упоенно, как ни в чем не бывало продолжал:

— Ясно, что, судя по необыкновенной живости изложения, «Сказание» — документ вполне достоверный, выдумывать его никому в голову не пришло бы и что, следовательно, и у царя Василия III (отца Ивана Грозного) была необыкновенная библиотека из великого множества греческих книг, то есть рукописей, ибо книгопечатание тогда еще не изобрели. Каждому это ясно, а вот, видите ли, профессору Белокурову не было ясно. Он в своем

сочинении пытался доказать, что «Сказание» написано не современником Максима Грека и не что иное, как выдумка. (Забегая вперед, скажу, что интуиция Стеллецкого здесь не подвела. Уже после его смерти, последовавшей в 1949 году, нам стало известно исследование Ивана Денисова, русского ученого, живущего за рубежом и в свете новонайденных документов доказавшего, что автором «Сказания» был князь Андрей Курбский, лично знавший Максима Грека. — В. О.)

— Итак, вы видите в этом доказательство существования библиотеки во времена Василия Третьего, — заметил я. — Но почему она называется библиотекой Ивана Грозного? И почему вы думаете, что она уцелела до наших дней?

— Погодите, всему свой черед. Но ваше нетерпение мне начинает нравиться. Слушайте, что случилось совсем недавно, а точнее говоря... сто двадцать пять лет тому назад. В 1822 году профессор Дерптского (ныне Тартуского) университета Христиан Дабелов опубликовал выдержку из одного документа, присланного ему из города Пернова (теперь это Пярну). Вот эта выдержка, которую привожу опять-таки не полностью:

«Сколько у царя рукописей с востока?

Таковых всего до 800, которые частию он купил, частию получил в дар.

Большая часть суть греческие; но также много и латинских. Из латинских видены мною:

Ливиевы Истории, которые я должен был перевести.

Цицеронова книга де республика и восемь книг историйарум.

Светониевы истории...

История Тацита.

Книги римских законов.

Юстиновы истории.

Вергилия Энеида и Итх.

Сии манускрипты писаны на тонком пергаменте, имеют золотые переплеты.

Салюстиева война Югурты и сатиры Сира.

Греческие рукописи, которые я видел, суть:

Полибиевы Истории.

Аристофановы комедии.

Стеллецкий на минуту умолк и снова продолжал с жаром.

— Я сегодня уже говорил Пересветову, что культурный мир вздрогнул бы, если бы это сокровище обнаружилось. Открылся бы новый пласт прошлого. Восемьсот манускриптов! Труд Ливия о Римской империи состоял из 142 томов, а до нас дошло только 35. Ведь мы вовсе не знаем его «Историарума», а сочинение «Де республика», что значит — «О государстве», известно нам лишь в своей небольшой части, которую открыл в прошлом веке библиотекарь Ватикана Анджело Май. История Светония известна лишь с большими пропусками. Из двенадцати томов истории Тацита до нас дошло четыре с четвертью. Упомянутые в таинственном списке сочинения поэта и оратора Кальвуса вовсе неведомы. Какие комедии бессмертного Аристофана были в либерее? Не те ли, которые скрылись во мраке времени? А стихи Пиндара? Но ведь нам известны только его песни. И так далее, и тому подобное...

— Кто был автор перечня? Как он попал к Дабелову? О какой библиотеке идет в нем речь?

— Дабелов его получил, как я уже упоминал, из Пернова. Архивы городов тогдашней Эстляндской губернии присылали ему всевозможные старинные документы, и он печатал в разных сборниках выдержки из них. В полученной из Пернова черной тетради оказались пожелтевшие листки. Давно выцветшие чернила. Записи на старонемецком языке... Они содержали приведенный мной перечень. А кто был автор и о какой библиотеке в нем была речь, прояснилось позднее, когда в Дерпт

приехал преподавать профессор Вальтер Клоссиус, специалист по манускриптам. Он, как только узнал о публикации Дабелова, сейчас же бросился к своему коллеге, и между ними произошел приблизительно такой разговор:

«Где оригинал опубликованного вами списка?»

«Я отправил его по снятии копии».

«Да знаете ли вы, что это такое?»

«Догадываюсь, что автор списка видел библиотеку какого-то московского царя».

«Безусловно, Ивана Четвертого, называемого Грозным. А известна ли вам «Ливонская хроника» Ниенштедта в части эпизода с пастором Веттерманом?»

«Ливонскую хронику» знаю, но этот эпизод не помню».

Вскоре Клоссиус вернулся с выпиской из «Хроники» и прочел ее Дабелову. Цитируя, я снова буду сокращать документ и комментировать его.

«Летом 1565 года царь Иван Грозный приказал всем дерптским бюргерам выехать вместе с женами и детьми из города. Их разместили по отдельным московским городам: Владимиру, Нижнему Новгороду, Костроме, Угличу. У них был в Дерпте пастор, именем Иоанн Веттерман, человек доброго и честного характера. Его как ученого очень уважал Грозный, который даже велел в Москве показать ему свою либерею, состоявшую из книг на еврейском, греческом и латинском языках. Эти книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах. Иван Грозный велел отворить свою великолепную либерею, которую не открывали более ста лет. И пригласил через своего высшего канцлера и дьяка Андрея Салкана (то есть Щелкалова), Никиту Высровату (Висковатого) и Фунику (Фуникова), вышеозначенного Иоанна Веттермана и с ним еще несколько лиц — Фому Шревена, Иоахима Шреде-

ра и Даниэля Браккеля, и в их присутствии велел вынести несколько из этих книг. Он нашел там много хороших сочинений, на которые ссылаются наши писатели, но которых у нас нет, так как они сожжены и разрознены при войнах, как то было с птоломеевой и другими либеререями. Веттерман заявил, что хотя он беден, но отдал бы все свое имущество, чтобы только эти книги были в протестантских университетах».

Стеллецкий передохнул и вдруг воскликнул:

— Веттерман пожертвовал бы все имущество! А я бы, кажется, пожертвовал и жизнью, лишь бы отыскать это сокровище, к которому я был так близок!

Игнатий Яковлевич продолжал:

— «Канцлер и дьяк предложили Веттерману перевести какую-нибудь из книг на русский язык. Веттерман с товарищами на другой день стал совещаться и раздумывать, что-де как только они кончат одну книгу, то им сразу же дадут переводить другую, таким образом придется заниматься до самой смерти. Да, кроме того, благочестивый Веттерман понял, что, приняв предложение, ему придется отказаться от своей паствы. Обо всем этом впоследствии мне рассказывали сами Томас Шревен и Иоанн Веттерман. Книги были страшно запалены, и их снова спрятали под тройные замки в подвал».

Можно себе представить, какой разговор произошел между Клоссиусом и Дабеловым, когда первый закончил чтение отрывков из «Ливонской хроники».

«Так это кто-либо из спутников Веттермана или он сам был автором присланного мне списка!» — воскликнул Дабелов.

«В том-то и дело! Вы представляете, какой огромной важности документ собственноручно выпустили из своих рук?»

Дабелов и Клоссиус решили обратиться в Перновский архив с просьбой вернуть им на время эту рукопись. Ответа не последовало. Клоссиус поехал в архив

сам, и каково же было его удивление, когда архивариус заявил, что никакого списка он не посылал.

О розыгрыше со стороны такого серьезного ученого, как Дабелов, и речи быть не могло. Куда же делся список? Клоссиус долго ломал голову, а потом решил сам ехать в Москву и искать рукописи. Он их не нашел и принял версию некоторых историков, которые внушили ему, что если античная библиотека у Ивана Грозного и была, то сгорела в один из грандиозных московских пожаров. В 1890-х годах раскопки под Московским Кремлем с помощью специального зонда для обнаружения пустот вел приват-доцент Страсбургского университета Эдуард Тремер, но ничего не нашел.

В 1913 году судьба забросила меня в Пернов. Я искал в архиве этот список, не нашел его, но в последний день, разбирая одну из запыленных пачек, перевязанных растрепанной веревкой обнаружил искомое. Удивительнее всего было то, что в конце списка стояла вроде бы буква «W». Значит, Веттерман! Значит, прав был профессор Шевырев, предполагавший авторство Веттермана, и не прав профессор Белокуров, вообще отрицавший и не принимавший всерьез всю эту историю с пропавшим было списком. Правда, доказать всем, что я видел список, я не смог, так как сфотографировать ветхий документ с выцветшими чернилами не было никакой возможности. А в 1914 году началась первая мировая война. Потом кратковременный период Советской власти в Эстонии и длительный буржуазный период. Снова месяцы Советской власти и годы войны с фашистской Германией. Поезжайте же в Пярну, может быть, все-таки найдете этот список. Что же касается меня, то я свое дело сделал. Вы, наверно, слышали, в 1930-х годах я вел раскопки под Кремлем, будучи уверен, что не сегодня-завтра найду либерею. Эта уверенность подогревалась тем, что мне был знаком еще один документ — челобитья московского пономаря Конона Осипова петровско-

му сенату от начала XVIII века. Осипов утверждал, что слышал от дядка Василия Макарьева, как тот, выполняя тайное поручение правительницы Софьи Алексеевны (сестры Петра Первого), пробирался однажды кремлевским подземельем и в одном из отсеков увидел множество сундуков с огромными вислыми замками. Осипов писал, что может их найти, и его вместе с помощниками отправили в подземелье. Но он сбился и не нашел того места. Потом, уже после смерти Петра, когда Конон снова поклялся найти «поклажу», выяснилось, что за ним числится недоимка казне, и его, видимо, осудили. Мне стоило немалых трудов организовать раскопки, но я воспользовался строительством Московского метрополитена. Однажды в разгар работ хлынули грунтовые воды, чуть не погибли рабочие, и все пришлось прекратить. Я понимаю, что сейчас, в первые послевоенные годы, не до этого. Я уже стар и болен. Но я верю, что ценнейшая либеререя будет найдена. Поезжайте в Пярну и постарайтесь найти подлинник, который окончательно убедит маловеров в том, что сокровище существовало.

Так закончил Стеллецкий свое повествование.

3. По земле эстонской

Вы бывали в Таллине? Вы бродили по Вышгороду, любовались со смотровой площадки остроконечными оранжево-кирпичными крышами средневековых домов, Таллинским заливом, тающими, еле заметными в голубой дымке очертаниями Хельсинки? Незабываемы эти впечатления... Но, предаваясь им, я думал и о главной цели поездки.

В одном из зданий Вышгорода находился президиум Академии наук ЭССР. Я пришел туда, чтобы навести справки: а не занимались ли эстонские историки поиска-

ми таинственно исчезнувшего списка Дабелова? Другими словами, не предстоит ли мне открытие уже открытой Америки? Выяснилось, что такие исследования здесь не проводились. Но, может быть, кто-нибудь из эстонских писателей, работающих над историческими сюжетами, брался за эту тему?

Внизу, точнее в Нижнем городе, расположена улица Харью, а в двухэтажном особняке серого цвета находится Союз советских писателей ЭССР. Выясняется, что писатели этой темой не занимались...

Над Пярну голубое, без облачка небо. Весь город на песчаном пляже. Лениво плещется белесое море, навевая прохладу. А я сижу в душных комнатах городского архива, стараюсь вывести у сотрудников, есть ли здесь список Дабелова. Это не просто при моем абсолютном незнании эстонского языка и не очень совершенных знаниях русского сотрудниками архива. Наконец мы понимаем друг друга.

— Все документы, которые охватывают события до 1945 года, не у нас, а в Тарту, в Государственном архиве ЭССР.

— А не слышали ли вы что-нибудь о библиотеке Ивана Грозного?

— Нет, о документах, касающихся Иоанна Четвертого, у нас ничего не известно.

Я сижу, оглядываю стены. Был ли здесь Стеллецкий? Ведь даже писатель Роман Пересветов, очень хорошо оговнившийся к археологу (умершему в 1949 году) и подчеркнувший в одной из своих книг важность проделанных им трудов, не очень-то верил в находку в архиве... Бродил ли по этим комнатам Клоссиус? Впрочем, вскоре выяснилось, что тогда, в 1820-х годах, архив находился в ныне не существующем здании ратуши. Мы постепенно разговорились. И все же делать нечего, надо ехать в Тарту. Вот только пойду на море, искупаюсь перед дорогой. После купания снова возвращаюсь в ар-

хив и задаю вопрос, может быть, несколько бестактный:

— Извините меня, но, поскольку нам трудно понимать друг друга, не укажете ли сотрудника архива, хорошо владеющего русским?

— Вполне вас понимаем. У нас долгое время работала Валентина Вениаминовна Знаменская, сейчас она служит в архиве лесхоза. Вот ее телефон... Да, вспомнила, как-то раз она что-то говорила об Иоанне Четвертом. Да, да, и о его библиотеке! Она мне показала в старой газете какую-то заметку и отчеркнула ее синим карандашом.

Хватаю трубку, звоню. Подходит сама Знаменская. Взволнованно рассказываю о цели своей поездки. И вдруг слышу:

— Незадолго до ухода из архива, а было это лет десять назад, просматриваю газету «Ваба маа» за 1930-е годы. И вдруг натыкаюсь на заметку. В ней говорится, что в помещении городской думы открылась выставка старинных документов по истории Пярну, и в их числе — список библиотеки Ивана Грозного.

Я настоял на немедленной встрече со Знаменской. Валентина Вениаминовна повторила еще раз все сказанное по телефону.

— И вы, конечно, видели эту рукопись?

— В том-то и беда, что найти ее пока невозможно. По слухам, вместе с другими ценными бумагами архива ее взял с собой помощник бургомистра Роовельт. Перед приходом Красной Армии в 1944 году он уехал в Финляндию. Ему было семьдесят с лишним лет.

Валентина Вениаминовна по моей просьбе встретилась со старожилами, помнящими Роовельта, в частности со старушкой Тыннисон. Все они подтвердили, что помощник бургомистра уехал в Финляндию.

Итак, ехать в Тарту прямая надобность как будто бы отпала. И все же как не посмотреть город старейшего

в стране Юрьевского университета (когда-то город назывался Юрьевом), как не побывать в архиве, где могут быть найдены какие-нибудь документы если не о пасторе Веттермане и его спутниках, то хотя бы о профессорах Дабелове и Клоссиусе... И вот я в Тарту, в старинном парке, где на гротах и мостах выступают полустертые временем латинские изречения. Подхожу к руинам гигантского костела Петра и Павла (XIV век!). В одной из его уцелевших частей разместилась университетская библиотека. А в другом помещении, на улице Вайнемуйзе, в отделе рукописей и редких книг я был любезно принят старшими библиотекарями Олевом Нагелем и Арво Терингом. Рассказываю о цели прихода. Тотчас же принимаются за каталоги. И что же: отдел имеет 79 неизвестных, никем не читанных писем Клоссиуса к известному филологу Моргенштерну, помеченных 1825—1826 годами, то есть как раз временем, когда Клоссиус познакомился с публикацией Дабелова и ездил в Пернов. Есть еще два недатированных письма Дабелова к неизвестным лицам. Но разбор немецкой готической скорописи потребует времени.

В Литературном музее Тарту есть рукописи сочинений Дабелова и Клоссиуса. Правда, это всего лишь учебные курсы читанных ими лекций, но как знать, нет ли на них каких-либо пометок, а между страницами не вложены какие-либо другие важные для дела листы? А в Государственном архиве ЭССР обнаруживаю служебные дела Дабелова и Клоссиуса. Дело Дабелова содержит 377 листов, дело Клоссиуса — 297.

Внимательно просматриваю лист за листом. Оживает первоначальный период прославленного университета, основанного в 1802 году. Подавляющее большинство документов на латыни и немецком языке, но многие и на русском. В деле Дабелова под некоторыми документами подпись ректора Эверса, друга поэта В. А. Жуковского, который посвящал ему стихи.

Значительная часть листов относится к книге Дабелова «Римское право», изданной им на латыни в небольшом формате, очень удобном для пользования. Колоссальное число просьб из учебных заведений прислать эту книгу показывает ее необычайный успех. Этот трудолюбивый человек, честный служака, конечно, не был способен на фальсификацию документа из эпохи Ивана Грозного.

Последние листы уже относятся к потомкам Дабелова. Его правнук поступал перед революцией в офицерское училище. Последовал издевательский запрос воинского начальства: принимал ли приехавший из-за границы в Россию его прадед, то есть профессор Христиан Дабелов, присягу на верность русскому правительству, без чего он «недоросль» принят в офицерское училище быть не может. Университетское руководство резонно ответило, что подобную присягу иностранные ученые, приглашенные русским правительством для научной деятельности, не принимают.

Не менее любопытно и дело Клоссиуса. Его, кстати, как свидетельствует листок учета, просматривал в 1963 году покойный ныне писатель Роман Пересветов. Лист 89 содержит отношение министра народного просвещения Шишкова от 31 марта 1827 года. «Государь император соизволяет» уплатить Клоссиусу три тысячи рублей ассигнациями на его поездку в Москву для «отыскания в духовных библиотеках московских актов, относящихся до гражданского и римского права». В такую формулировку Клоссиус облек свое подлинное намерение найти библиотеку античных рукописей Ивана Грозного.

Закончив просмотр, беседу с заместителем директора по научной части Малле Лойт.

— В Пярну мне говорили, что ваш архив хранит документы, относящиеся еще к глубокой древности.

— Самые ранние датированы двенадцатым веком.

— Нельзя ли посмотреть дела за 1560-е годы?

— Да, но материалы расположены не в хронологической последовательности, а по географическому признаку.

— Меня интересуют дела пярнуского архива за 60-е годы XVI века, то есть за время посещения пастором Веттерманом либерей Ивана Грозного.

— Приезжайте месяца через три, подготовим.

Правда, пока просмотр документов почти ничего не дал. Но он далеко не закончен. А тем временем письма Дабелова и Клоссиуса выделены в особую «группу изучения» и тартуский полиглот, мой добрый знакомый Пент Нурмекунд, в скором времени разберет их.

4. Где искать сокровище?

Нет сомнения: Максим Грек любовался им в Московском Кремле, а если у Василия III и были загородные дворцы, то либерею туда переправлять на лето смысла не имело. А где видел библиотеку пастор Веттерман?

Тщательное изучение всех данных приводит к единственному выводу: в опричном дворце Ивана Грозного, в Александровой слободе. Ныне это город Александров, находящийся между Загорском и Ярославлем.

Вот что говорит александровский краевед, страстный поборник археологических раскопок в слободе Михаил Николаевич Куницын:

— В декабре 1564 года Иван Грозный уехал в санях с сыновьями «неведомо куда бяше». На самом же деле, переждав распутицу в подмосковном Коломенском, он направился в Троице-Сергиевский монастырь. После молебна он направился в Александрову слободу. Летопись гласит, что он взял с собой из московских церквей древ-

ние иконы, золотую и серебряную утварь, одежду, деньги и «всю казну». Ближним боярам и приказным повелел он ехать с семьями, а дворянам и боярским детям «с людьми и с коньми, со всем служебным нарядом».

Итак, Иван Грозный, переселяясь в слободу, забрал с собой все ценное имущество. Трудно себе представить, чтобы он не взял и либерею. Перечисляя увезенное царем, летопись называет «деньги» и «всю казну». Книги, рукописи, грамоты предков обычно хранились вместе с драгоценностями. Благодаря их редкости они ценились очень дорого. Не разумел ли летописец под казной и библиотеку?

Предположение М. Н. Куницына полностью подтверждается. Вот выдержка из наказа Ивана Грозного послу Михайле Сунгулову: «Государь наш тое книги в казнах своих искать велел...» Конечно же, ценнейшая либерея и казна составляли неразрывное целое. Да либерея и необходима была царю, перебиравшемуся надолго в слободу, хотя бы для того, чтобы, пользуясь ею, на должном философском и литературном уровне вести полемику с боярской оппозицией в лице умного и начитанного князя Андрея Курбского.

Почему же все-таки немецкие и русские историки и археологи вели поиски сокровища под Московским Кремлем, а не в Александрове?

Но прежде чем ответить на этот вопрос, следует заметить, что наблюдательный Клоссиус не миновал Александрову слободу, а специально приезжал в нее в 1829 году. Там был тогда женский монастырь. На просьбу показать ему книги и рукописи игуменья вынесла только печатные церковные книги, заявив, что других нет.

Тот факт, что библиотеку искали прежде всего в Москве, объясняется тем, что в «Ливонской хронике» говорится: пастор Веттерман и его спутники видели либерею в Москве. Кроме того, некоторые ученые считают, что

показ библиотеки пленным дерптцам не мог происходить ранее 1570 года, так как только тогда они перестали быть персонами «*поп grata*» и были отпущены из плена. В июне 1570 года в Москве происходили торжества по случаю приема датского принца Магнуса, который в ответ на определенные привилегии обещал отбить со своим войском у шведов Ревель, необходимый выход России к Балтике. Одним из выставленных им требований и было освобождение дерптцев. Тогда-то, в эти дни торжеств, и показывали им библиотеку, полагают некоторые историки.

По моему мнению, прочтение слова «Москва» в «Ливонской хронике» носит лишь формальный характер, ибо иностранцы в то время подразумевали под Москвой и близкие и дальние окрестности столицы, и вообще всю Московию. Во-вторых, в хронике называется 1565-й, а не 1570 год. А в 1565 году Иван Грозный, испуганный народными восстаниями, недовольством бояр и в результате разных других причин, переселившись в «опричную» (от слова «опричь» — особо, отдельно) Александровскую слободу, в Москве появлялся лишь на короткое время и, конечно, не стал бы демонстрировать либерео пленным.

Очень важно в этом вопросе и изучение путей, по которым в 1565 году двигались дерптцы в места ссылки. Совершенно ясно, что шли они не по центральной Смоленской дороге, вообще в ту пору очень беспокойной из-за осложненных русско-польских отношений. Да из Дерпта, находящегося на северо-западе России, и не было смысла ею пользоваться. Пленные шли через Псков, Старую Руссу, Вышний Волочек и Тверь (ныне город Калинин). Если бы они шли по Смоленской дороге, то миновать Москву не могли бы, коль маршрут их был в поволжские города и Владимир. Но раз они двинулись из Дерпта, то, достигнув Твери, должны были погружаться на суда и плыть по Волге (самый надеж-

ный путь того времени). Исключение представляла одна лишь группа — владимирская. Вот ее-то маршрут и лежал через Клин, Дмитров и Александров. А от Александрова до Владимира уж и рукой подать.

Что же касается того, что Веттерман и его спутники были тогда персонами «non grata», то, видимо, не случайно хронист неоднократно подчеркивает, что Иван Грозный уважал пастора как человека ученого и высоко нравственного и потому мог для него сделать исключение. В Александрове же была и специальная слободка для иноземцев.

В Британском музее среди сокровищ есть старинная книга. Если открыть ее, увидишь надпись: «Эту библию на славянском языке получил из царского книгохранилища Джером Горсей в 1581 году» (английский торговый агент Горсей был автором любопытных записок о пребывании своем при дворе Ивана Грозного). Известно, что царь ушел из слободы в двадцатых числах ноября 1581 года, после убийства сына своего Ивана (на эту тему написана И. Е. Репиным замечательная картина). Последние месяцы своей жизни он библиотекой не занимался, будучи тяжело болен и глубоко переживая убийство сына. Умер царь в 1584 году. Спрашивается, где же находилось его «книгохранилище», когда он дарил из него книгу Горсею? Ответ может быть один — в Александрове.

Но возникает вопрос — не увез ли Грозный либерею обратно в Москву после окончательного ухода из Александровской слободы?

— Вряд ли, — отвечает М. Н. Куницын. — Царь оставил слободу в смятенных чувствах. Многое, свезенное сюда за годы опричнины, он оставил в александровских дворцах. Затем воцарился сын его Федор. Он, по выражению поэта А. К. Толстого, «был разумом не бодор, трезвонить лишь горазд». За ним на троне оказался Борис Годунов, правитель мудрый, но, как ни

странно, человек «бескнижный», то есть неграмотный, по утверждению современников. Далее наступила «смута», потом на троне появлялись цари «растительного образа жизни», далекие от интересов к античной культуре, — Михаил Федорович, Алексей Михайлович. Ко времени восшествия на престол любознательного, энергичного Петра Первого либерей, погребенная в одном из тайников слободы, была уже забыта...

Заканчивая этот очерк, я должен сообщить, что в наши дни создается специальная комиссия, в которую войдут известные ученые и литераторы. Она наметит широкий план поисков ценнейшего сокровища мировой культуры — либерей Ивана Грозного.

ИСТОРИЯ МОЕГО ДОМА

В 1932 году, когда мне исполнилось 13 лет, я переехал с родителями из Можайска в Москву. В доме 12 по улице Чехова, которая до 1944 года называлась Малой Дмитровкой, прожил 21 год.

Москва меня сразу захватила. Но, конечно, изучение архитектурных памятников города и их истории пришлось гораздо позднее. Тогда-то я и узнал по разным справочникам и мемуарам и историю своей улицы, и не менее удивительную историю своего дома, связанную с декабристом М. Ф. Орловым, писателями Пушкиным, Герценом и Чеховым.

Название «Малая Дмитровка», так же как и «Большая Дмитровка», говорит о том, что здесь проходила дорога на город Дмитров. Здесь шел вместе с тем и кратчайший путь к Волге по рекам Яхроме, Сестре и Дубне. Дорога была оживленная, торговая, и число жителей Малой Дмитровской слободы росло. Селились они от центра по правую руку, где впоследствии появились

дома с четной нумерацией, тогда как по левую сторону стоял посёлок приворотных сторожей — воротников, о чем напоминает существующий до сих пор маленький Воротниковский переулочок.

В конце XVI века путь от Большой Дмитровской слободы на Малую перегородила стена Белого города. Дорога повернула налево к Тверским воротам, на современную Пушкинскую площадь. Это не устраивало жителей, и они проделали лаз в Дмитровской башне. Как гласят старинные документы, он существовал, несмотря на неоднократные замуровки, до 1647 года.

А вскоре на Малой Дмитровке началось строительство церкви Рождества на Путинках, закончившееся необыкновенно быстро, к 1652 году. Храм выглядит и сейчас как игрушка, как группа затейливо и тонко выточенных кеглей. Храм дополнялся все новыми сооружениями, по мере того как во время постройки разгоралось воображение прихожан-заказчиков. Несмотря на постепенное наращивание отдельных объемов, храм отличается слаженностью всех своих необычайно красивых частей. Зодчий стремился разместить разнохарактерные объемы так, чтобы здание смотрелось преимущественно с одной точки зрения — с Тверской заставы, то есть со стороны выезда из города. Любимые народом шатровые завершения, действительно напоминающие точеные кегли, вносили в архитектуру светские черты, чему способствовало и убранство стен, выполненное из штучного, специально формованного кирпича.

Духовенство не могло примириться с таким «обмирщением», и, видимо, не случайно в год завершения Рождества на Путинках запретили шатры. Однако народная любовь к декоративности и узорности, к обостренности силуэта и затейливости убранства, так ярко сказавшаяся в архитектуре этой церкви, продолжала жить в искусстве и зодчестве.

Почему именно в этом месте был построен такой красивый храм, строительство которого обошлось в большую по тем временам сумму 800 рублей? Современный историк русского зодчества, профессор М. А. Ильин резонно предполагает, что это объяснялось близостью Путевого Посольского двора, в котором останавливались иностранные послы. Дворец находился в начале Успенского переуллка, связывающего бывшую Малую Дмитровку (ныне улицу Чехова) с Петровкой и Каретным рядом. Об этом дворце напоминает сохранившаяся до наших дней перестроенная церковь Успения. И, наверно, ошибаются те, кто считает, что название церкви «Рождество на Путинках» напоминает о пути на Дмитров; скорее оно связано с названием Путевого Посольского двора XVII века.

В XVIII и первой половине XIX века на Малой Дмитровке селились дворяне. Еще уцелели и некоторые дома писателей, других давно нет. Здесь стоял дом, в котором у своей любимой сестры Федосьи Аргамаковой останавливался автор бессмертного «Недоросля» Денис Иванович Фонвизин, приезжавший из Петербурга. В собственном доме жил тут в 50—60-х годах XVIII столетия поэт и директор Московского университета Михаил Михайлович Херасков, к которому сюда частенько заходили драматург Александр Петрович Сумароков и основатель русского театра Федор Волков. С последним Херасков создавал план грандиозного уличного маскарада «Торжествующая Минерва» в честь первого приезда Екатерины II в Москву.

С 1802 по 1804 год проживал на Малой Дмитровке Николай Михайлович Карамзин, выпускавший тогда «Вестник Европы», а у него бывал начинающий поэт Жуковский, напечатавший в декабрьской книжке этого журнала за 1802 год свой прославленный перевод элегии Грея «Сельское кладбище».

Державин, Дмитриев, Херасков, Василий Львович

Пушкин, дядя поэта, — всех их можно было встретить тут у Карамзина.

Не уцелел и дом С. Н. Бибиковой, дочери декабриста Никиты Муравьева. У нее побывал Лев Толстой, и, по его свидетельству, она ему «пропасть рассказывала и показывала».

Совсем недавно в связи с реконструкцией улицы снесен дом № 3, в котором в декабре 1825 года поселился высланный в Россию из Польши Адам Мицкевич, и здание оригинальной «теремной» конструкции, где до революции помещался детский журнал «Светлячок» (дом № 17). Домик и сам словно вышел из сказок этого журнала.

Еще доживает свой век особняк богача А. Н. Соймонова, отца незаконнорожденного Сергея Соболевского — одного из близких друзей Пушкина и страстного библиофила. Соболевский убежденно говорил, что окажись он в Петербурге 27 января 1837 года, то наверняка строил бы дуэль Пушкина с Дантесом. В соймоновском доме с остатками прежнего большого сада ныне Свердловский районный комитет ВЛКСМ.

В 1870—1880-х годах здесь, как и в районах Арбат и Пречистенки, в особняках разорявшегося дворянства селилось богатое московское купечество. А позднее купцы стали строиться и сами.

В 1910 году на Малой Дмитровке по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица выстроили великолепно: огромное по тем временам здание Купеческого клуба женскими, на античный манер масками-барельефами Хроника революционной Москвы гласит, что в начале 1918 года Купеческий клуб заняла группа анархистов, но в ночь на 12 апреля 1918 года по распоряжению ВЧК дом окружил военный отряд. Анархисты оказали сопротивление, но быстро были обезоружены.

Здание отвели под Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, и в левом его крыле до сих пор

находится Высшая партийная школа, в правом — Театр Ленинского комсомола. 2 октября 1920 года здесь на III съезде комсомола выступил В. И. Ленин. Комсомольцы, съехавшиеся со всей страны, ждали, что вождь призовет их на фронты бушевавшей тогда гражданской войны, и готовились беззаветно отдать свои жизни по его первому слову. Но Ильич сказал, что главная их задача теперь в том, чтобы учиться, учиться и учиться. Это историческое выступление с большой художественной силой воссоздано в 1950 году в картине бригады советских живописцев под руководством Б. В. Иогансона.

Но мне хочется подробнее рассказать о доме № 12, в котором я жил. Собственно говоря, двухэтажное здание во дворе, где находилась наша 25-метровая комната, никакого интереса не представляло. Это была распах сделанная в 1932 году пристройка. Другое дело — два основных корпуса, выходивших на улицу.

Первый из них — он глядит углом и на Успенский переулок — принадлежал в начале прошлого века некоей Шубиной. В нем-то и поселился в мае 1831 года граф Михаил Федорович Орлов, незадолго перед тем получивший разрешение жить в Москве. Тут посетил и Го Пушкин, о чем свидетельствует одно из писем поэта.

Михаил Федорович Орлов — личность необыкновенная. Он был племянником фаворита Екатерины II Григория Орлова. Получил блестящее образование. Красавец, человек богатырского, как и все братья Орловы, сложения, он поступил в кавалергардский полк. Участник многих сражений, геройски вел себя на поле битвы и уже в 26 лет дослужился до генерала. Служил флигель-адъютантом Александра I, который его очень любил, поручал вести переговоры о капитуляции Парижа, подписывать ее условия.

Вернувшись из Парижа, он, как тогда говорили, заразился идеями французской революции. В 1817 году

он вошел в петербургское литературное общество «Арзамас», основанное группой молодых писателей для борьбы с литературными староверами. В «Арзамасе» каждый член общества имел прозвище из баллад Василия Андреевича Жуковского.

Вновь вступающий должен был произнести вступительную речь. За плавность и красоту своей речи Орлов получил прозвище «Рейн». Он настаивал на том, чтобы «Арзамас» издавал свой журнал, который будил бы мысли о преобразовании России. Вначале, как свидетельствовал очередной стихотворный протокол бессменного секретаря общества Жуковского, арзамасцы решили основать журнал. Но ввиду разногласий (так как противники Орлова считали, что журнал должен быть только развлекательным) из этой затеи ничего не вышло.

В «Арзамасе» пламенный Орлов познакомился с юным Пушкиным, прозванным за свою необыкновенную живость «Сверчком».

Вскоре Александр I охладел к своему флигель-адъютанту, то и дело беспокоившему его своими либеральными проектами, и удалил в Киев на должность начальника штаба. Штабная деятельность связывала кипучую натуру Орлова, пять раз он получал отказ на просьбу назначить его в войска и лишь в ответ на шестое прошение был назначен командиром дивизии в Кишиневе. По пути он заехал в Тульчин, где будущие декабристы Пестель, Юшневский и Фонвизин приняли его в члены «Союза благоденствия».

В своей дивизии Орлов отменил телесные наказания для солдат. В январе 1822 года он отдал приказ: «В Охотском полку господа майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих

трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для многих им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания».

Современник Пушкина Филипп Вигель, подвизавшийся в «Арзамасе» под кличкой «Ивиков журавль», а впоследствии ставший крупным чиновником-реакционером, посещавший Орлова в Кишиневе, позднее писал в своих мемуарах: «Сей благодушный мечтатель более чем когда бредил конституциями».

За Орловым учредили секретный надзор и вскоре лишили дивизии. А после восстания декабристов его схватили и привезли в Петропавловскую крепость.

Передо мной довольно редкая книга, изданная в 1926 году Центрархивом, «Междущарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Вот что писал сам Николай I о поведении Михаила Орлова на допросе:

«Быв с ним очень знаком, принял я его как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне уже известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтобы слепо верить уликам на него, но с душевным желанием, чтоб мог вполне оправдаться, что других я допрашивал, его же прошу как благородного человека, старого флигель-адъютанта покойного императора сказать мне откровенно, что знает.

Он слушал меня с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, и отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не слышал и потому к нему принадлежать не мог... Все это было сказано с насмешливым тоном и выражением человека, слишком высоко стоящего, чтоб иначе отвечать как из снисхождения.

Дав ему договорить, я сказал ему, что он, по-видимому, странно ошибается насчет нашего обоюдного положения, что не он снисходит отвечать мне, а я снисхожу к нему, обращаясь не как с преступником, а как со старым товарищем, и кончил сими словами:

— Прошу вас, Михаил Федорович, не заставляйте меня изменить моего с вами обращения; отвечайте моему к вам доверию искренностью.

Тут он рассмеялся еще язвительнее и сказал мне:

— Разве общество под названием «Арзамас» хотите вы узнать?

Я отвечал ему весьма хладнокровно:

— До сих пор с вами говорил старый товарищ, теперь вам приказывает ваш государь, отвечайте прямо, что вам известно.

Он прежним тоном повторил:

— Я уже сказал, что ничего не знаю и нечего мне рассказывать.

Тогда я встал и сказал генералу Левашову:

— Вы слышали? Принимайтесь за ваше дело!»

Потрясающий документ. Как живо выступают из его купных слов лицемерное позерство царя и благородное мужество генерала-декабриста.

В депеше царя, адресованной отказавшемуся от престола брату Константину (от 23 декабря 1825 года), есть такие слова:

«Я жду Михаила Орлова и Лопухина, которые уже должны быть арестованы; арестованные во второй армии — самые важные главари».

11 января 1826 года Николай писал в Варшаву тому же Константину:

«Якубович только что изобличен; он признался в намерении убить нашего ангела (то есть Александра I. — В. О.), и Орлов это знал!»

А 14 июня 1826 года Константин отвечал Николаю:

«Одно меня удивляет... поведение Орлова и то, что он как-то вышел сух из воды и остался непреданным суду».

Да, Михаилу Орлову грозила жестокая кара. Но его брат Алексей, сделавшийся первым другом царя — он повел свой полк на восставших, — на коленях умолил императора простить Михаила.

Орлова выпустили из крепости, разжаловали и выслали под надзор полиции в его калужскую деревню. Лишь в 1831 году тот же брат Алексей исхлопотал ему разрешение жить в Москве. Декабрист поселился в доме Шубиной на Малой Дмитровке.

Старая столица, по свидетельству одного из биографов Орлова, окружила его почетом и уважением, как генерала Ермолова, как Чаадаева, как других талантливых людей, у которых николаевский режим отнял возможность деятельности.

Вот тогда-то, в 1831 году, и навестил здесь Орлова Пушкин. О чем они говорили? Увы, прямых свидетельств не сохранилось. По всей вероятности, они вспоминали и «Арзамас», и более позднее время — свои бесарабские встречи. Пушкин, высланный царем в Молдавию, жил в Кишиневе и часто бывал в доме Орлова, открытые обеды которого славились на весь город. Поэт, несомненно, посещал не только эти официальные обеды, но и некоторые собрания декабристов. Косвенное тому доказательство — слова Вигеля:

«На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных».

Одно из таких собраний должно было особенно врезаться в память Пушкина, — оно, впрочем, происходило не в Кишиневе, а в загородной Каменке, куда поэт приехал по приглашению своих друзей, братьев Давыдовых. Об этом сохранилось ценное и любопытное воспоминание декабриста Якушкина, который, в частности, рассказывал о том, как декабристы решили

убедить Пушкина, что никакого тайного общества не существует.

«Орлов предложил вопрос: «Насколько было бы полезно учреждение Тайного Общества в России?» Тут Якушкин начал доказывать, что в России невозможно существование тайного общества, которое было бы хоть сколько-нибудь полезно. Раевский стал ему возражать. Якушкин спросил у Раевского, серьезно ли он говорит и присоединился ли бы он к такому обществу, если бы оно существовало. Раевский ответил, что присоединился бы. «В таком случае давайте руку», — сказал Якушкин. Раевский протянул руку, но Якушкин расхохотался, сказав: «Разумеется, все это только одна шутка». Собравшиеся засмеялись, кроме А. Л. (А. Львова. — В. О.), рогоносца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед тем уверился, что Тайное Общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал покрасневшись и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагоустроенную и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен».

Как часто, наверно, вспоминал Пушкин этот эпизод. Ведь вскоре он узнал, что тайное общество действительно существовало, что на Сенатской площади произошло восстание, а потом казнили пятерых, а других декабристов сослали на каторгу... Трудно себе представить, чтобы в кабинете Орлова на Малой Дмитровке он не вспомнил собрания в Каменке.

А может быть, он с улыбкой вспоминал и свои кишиневские дуэльные «проказы», отлично знакомые Орлову. Однажды в бильярдной комнате кишиневского городского сада, разгоряченный жженкой, Пушкин сказал что-то дерзкое Федору Орлову, брату Михаила. Тот

назвал его школьником, а друг Орлова — Алексеев — добавил, что провинившихся школьников наказывают. Пушкин вспыхнул и тотчас вызвал обоих на дуэль. Товарищ всех трех и сам отчаянный стрелок и дуэлянт, подполковник Липранди наутро примирил их.

Но все же Пушкин в Кишиневе стрелялся, и дважды. Раз — с офицером штаба Зубовым, причем спокойно ел черешни под дулом пистолета. В другой раз — с полковником Старовым во время метели. Сначала стрелялись на 16 шагов, потом — на 12, и оба промахнулись.

А что говорил Орлов Пушкину? Вполне вероятно, он делился своими идеями об организации первого на Москве художественного класса, в основание которого вкладывал столько энергии. «Художественное образование общества, — убежденно скажет он вскоре, — есть дело государственное и одно из самых вернейших средств к достижению истинного и полезного просвещения. Живопись есть также язык, и язык красноречивый, выражающий много истины для тех, кои умеют его понимать и им говорить».

Кипучая энергия Орлова, привлечение им в художественный класс живописцев Тропинина и Рабуса явились первой стадией организации прославленного впоследствии Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Василий Тропинин, который написал портрет Пушкина с перстнем, тоже мог упоминаться в беседах Пушкина и Орлова в доме на Малой Дмитровке.

Встреча эта состоялась вскоре после того, как Михаилу Федоровичу в мае 1831 года было разрешено поселиться в Москве. А 14 мая датировано свидетельство, выданное Пушкину на выезд из Москвы в Петербург, 15-го он уже уехал, следовательно, он посетил Орлова между 10 и 14 мая.

Если о характере этого свидания мы можем только гадать, то о проходившей тут в 1834 году встрече 22-лет-

него Александра Герцена с Орловым существует более ясное представление. Через много лет в «Былом и думах» Герцен ярко воссоздал этот эпизод.

Полиция арестовала ближайшего друга Герцена — Николая Огарева. Встревоженный Герцен немедленно поехал к знакомому влиятельному лицу — князю В. П. Зубову на его роскошную дачу за Воронцовым полем. Тот когда-то сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря, был отпущен, теперь служил, имел большое влияние на генерал-губернатора князя Голицына. Герцен дождался Зубова. Тот, узнав, в чем дело, перепугался и не только отказался помочь, но и «посоветовал» даже не называть губернатору имя Огарева. Вернувшись, Герцен нашел записку от Михаила Орлова, которого тоже немного знал, с приглашением на обед. С мыслью об Огареве он поехал на Малую Дмитровку.

«Он был очень хорош собой, — описывал Герцен Орлова в «Былом и думах», — высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщало его наружности неотразимую привлекательность. Его бюст — *pendant* (под стать. — В. О.) бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четырехугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состарившегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в «Мазепе».

Герцен дает и психологический портрет декабриста: «Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стучался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снала».

Александр Иванович вспоминал, что обед был большой и поговорить с Орловым сразу ему не удалось. Ему довелось сидеть рядом с Николаем Раевским — братом жены Орлова. Он спросил его, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать для Огарева.

— Тут нет места хотеть или не хотеть, — отвечал он, — только я сомневаюсь, чтоб Орлов мог много сделать; после обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам. Так вот, — прибавил он, помолчав, — и ваш черед пришел; этот омут всех утянет.

Расспросивши Герцена, Орлов написал князю Голицыну и просил того устроить свидание Герцена с Огаревым.

«С тяжелым сердцем оставил я Орлова, — рассказывал Герцен. — И ему было нехорошо. Когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, крепко прижал к широкой груди и поцеловал».

Предсказание Николая Раевского сбылось. Очень скоро был арестован и отправлен в ссылку и Герцен. А через много лет в Швейцарии Герцен писал:

«В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. Во впадине лежит умирающий лев, он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил мордецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд; все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный лев.

Раз как-то, долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...»

Как же сегодня выглядит дом, в котором произошло столько событий? Он почти не подвергся переделке. Двухэтажный, с решетчатыми балконами, полуovalными окнами, он украшен небольшими барельефами, изображающими вазоны и лиры. Как и при Орлове, он выкрашен в светло-зеленый цвет. На второй этаж — вход со двора — ведет широкая лестница с перилами тех времен. На втором этаже — огромное зеркало. На лево и направо комнаты, в одной из которых был кабинет, где Орлов принимал и Пушкина и Герцена.

Во дворе сохранились остатки фонтана.

Все это рассказано про левую часть дома № 12, выходящую углом в Успенский переулок. Правая часть в существующем ныне виде построена в 50—60-х годах прошлого века. Левая часть в предреволюционные годы принадлежала известному московскому чаепромышленнику А. И. Кузнецову, правая — некоему Владимирову. Здесь в одной из комнат прожил несколько дней, начиная с 12 апреля 1899 года Антон Павлович Чехов, именем которого в 1944 году была названа улица.

Предшествовали этому некоторые грустные обстоятельства его жизни. В октябре 1898 года умер его отец Павел Егорович. Как вспоминал младший брат Чехова, Михаил Павлович, отец приподнял в Мелихове тяжелый ящик с книгами и у него сделалось ущемление грыжи. После операции он скончался.

«Мы похоронили его в Новодевичьем монастыре, — писал Михаил Павлович в книге своих мемуаров «Вокруг Чехова», — и я, мать и сестра с грустью возвратились в Мелихово. Я прошел по пустынным комнатам. Брата Антона — нет — он в Ялте; отца нет — он в могиле; «прекрасной Лики» (Мизиновой. — В. О.) тоже нет — она в Париже. Даже нет нашего вечного друга А. И. Иваненко — он навсегда уехал к себе на родину. Опустело наше Мелихово! Точно один отец занимал весь наш дом, — так почувствовалось в Мелихове его отсутствие».

В это время Антон Павлович из-за резкого обострения туберкулеза вынужден был приобрести жилье на юге, в мягком солнечном Крыму, последнем прибежище многих и многих...

Антон Павлович купил землю, как рассказывал впоследствии Михаил Чехов, бок о бок с татарским кладбищем. Участок весь зарос корявым, выродившимся виноградом. На Марию Павловну, приехавшую посмотреть покупку брата, это зрелище произвело угнетающее впечатление.

чатление. А бывший оперный певец Усатов, проживавший здесь, прямо говорил, что непрактичному Антону Павловичу «всучили» и негодный дом.

Гораздо позже превратился он в прекрасную дачу, где каждый камень и каждое дерево говорят о созидательном таланте Антона Павловича и его сестры.

Зима стояла суровая, на море бушевали бури. Тяжело приходилось Антону Павловичу, но он, как всегда, не унывал, не сидел сложа руки. Его избрали в члены попечительского совета женской гимназии, и он, не считая возможным относиться к своим общественным обязанностям пассивно, много ими занимался. Будучи стеснен в средствах, он тем не менее пожертвовал 500 рублей на постройку школы в Мухоматке. Прослышав, что Чехов в Ялте, чахоточные больные со всех концов России осаждали его письменными просьбами устроить их в этом городке. «Антон Павлович хлопотал за всех, печатал воззвания в газетах, собирал деньги и посильно облегчал их положение», — свидетельствовал современник.

По словам Марии Павловны, Чехова от всех этих тревог, забот и неудобств вдруг неудержимо потянуло на север, и ему стало казаться, что если бы он переехал на зиму в Россию, в Москву, где с таким успехом шли в Художественном театре его пьесы и где все для него было полно интереса, то для его здоровья это было бы не хуже, чем в Ялте.

12 апреля 1899 года он был уже на Малой Дмитровке в доме Владимирова, в квартире, которую снимали младший брат, сестра и мать.

Видимо, поселились здесь Чеховы не случайно, а потому, что уже обжили этот район прежде. В доме № 29, в конце улицы, близ Садово-Триумфальной, Чеховы жили в доме Фирганга с 1890 по 1892 год. Квартирка, занимаемая ими, была крохотной, к тому же Ан-

тон Павлович привез с собой из Индии двух мангустов и пальмовую кошку. Один из мангустов был чрезвычайно любопытен и лазил повсюду, а кошка вылезала только ночью и пребольно кусалась.

Теперь, в 1899 году, в квартире Владимирова он прожил всего несколько дней, что-то, по всей вероятности теснота, ему здесь не понравилось, и он переехал в дом Шешкова (№ 11), напротив. В мае он уехал в Мелихово, а затем 29 августа того же, 1899 года окончательно переселился в Ялту и продал Мелихово.

О кратком периоде его проживания в том году на Малой Дмитровке имеется любопытное свидетельство К. С. Станиславского, причем трудно установить, относится ли оно к дому Владимирова или к дому Шешкова.

«Здесь часто и долго сиживал покойный художник Левитан, поэт Бунин, Вл. И. Немирович-Данченко, артист нашего театра Вишневский, Суллержицкий и многие другие». Можно почти с уверенностью предположить, что часть этих посещений выпала и на дом Владимирова, ибо сразу же, по возвращении Чехова из Ялты, артисты Художественного театра во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко решили показать ему «Чайку», неудачная постановка которой в Петербурге сильно огорчила автора. Вероятно, обсуждения планов и споры о постановке проходили в доме Владимирова на Малой Дмитровке.

Для этого спектакля Художественный театр снял на один день — 1 мая — помещение театра «Парадиз» на Б. Никитской (ныне улица Герцена), 19.

«Там и был объявлен театр без публики, — вспоминал Станиславский. — Обстановка грязного, пустого, неосвященного и сырого театра, с вывезенной мебелью, казалось бы, не могла настроить актеров и их единственного зрителя. Тем не менее спектакль доставил удовольствие Антону Павловичу».

НАВИ ВОЛЫРК

Да, это был человек-загадка, как называл его Батюшков. А хорошо бы узнать хоть некоторые его потаенные думы, так искусно запрятанные в басни.

Из лекций профессора
В. А. Архипова студентам Литинститута

Иван Андреевич никак не мог сдержать зевоту. Как он на себя за это негодовал! Незаметным движением крестил рот — не помогало. Почесывал пальцем под носом — спасало от чиха, но не от зевоты. Резко вскидывал массивную голову — напрасно... Но гости давно уже заметили, что хозяин устал, и постепенно начали расходиться.

А хозяин никого и не задерживал. Последним ушел Николай Иванович Гнедич. Впрочем, это был и не гость даже, а свой человек, любезный друг, к тому же и сосед: жил этажом выше. Крылов трижды расцеловал приятеля, не обращая внимания на обезображенную его физиономию, и это всегда трогало Гнедича. Он смахнул слезу, дружески схватил Крылова за рукав и торопливо вышел.

Тогда Иван Андреевич из темной комнатки-боковушки, где доживала старая рухлядь, выдвинул громоздкое кресло, сел в него и закрыл глаза. Нет, он не спал, как тогда, когда люди думали, что он дремлет, — на службе в библиотеке, в гостях, в клубе. А, пусть думают.

Вот и вчера некий господин из высокопоставленных чиновников, зайдя в библиотеку, где он, Крылов, сидел с закрытыми глазами, все присматривался да присматривался. И тогда началась странная знакомая игра между посетителем и библиотекарем: спит или притворяется? Она начиналась всякий раз, когда Крылов не

желал разговаривать с посетителем; как, в самом деле, отвечать на вопросы: «Что подписываете?», «Как пишите?»... Победил, конечно, по обыкновению он, Крылов. Ушел-таки сановный господин, пожав плечами: спит библиотекарь.

Странная, а порой и страшноватая игра! Она идет между ним и обществом, между ним и царем! Уж кто-кто, а царь-то прекрасно понимает, что он такое, «русский Лафонтен», и что есть его басни.

Недавно ему, Крылову, и в самом деле стало жутко, как тогда, в давно прошедшие времена, в том, минувшем столетии, когда был юн и неразумен и сам лез в драку, получая то и дело тумаки. И какие тумаки, иной раз и искры из глаз сыпались... Эх, мороз и сейчас еще старую шкуру пробирает, как вспомнишь!

Ох уж эти вызовы к царям! Тогда, после приглашения к матушке Екатерине, хотя и был осыпан ею ласковыми словами, пришлось и вовсе на время литературу оставить. То же повторилось и на сей раз. Государь был отменно любезен, справлялся о здоровье, но в зрачках-то он видел тот же холодный металлический блеск, что у его покойной бабки. И он чувствовал себя птицей в когтях у кошки, но на сей раз ему удалось выпорхнуть. Да к тому же накануне нового года император Николай Павлович пожаловал его чином коллежского советника.

Когда же началась эта затаенная и захватывающая игра с царями, с сановниками, или, как бы сказал покойник отец, да и смирнехонький братец Левушка, с «господами боярами»? Уж не тогда ли, когда он решил написать трагедию «Клеопатра», — ведь опостылело глядеть лживые комедии с благополучненькими концами, с кривляниями и ужимками пудренных и крашенных стариков и старух. Ему и самому надоела порядочно его же собственная комическая опера «Кофейница», которую, правда, хвалили, но он-то знал, что пришлось в

ней покривить душой. Это была его первая пьеса, ему тогда шел шестнадцатый год, и Брейткопф, книготорговец и издатель, заплатил за нее шестьдесят рублей ассигнациями, тогда как по службе в казенной палате получал он около семи рублей в месяц. Денег он, помнится, не взял, а попросил заплатить книгами, — все равно потрагился бы на них. Вот только хотелось купить гостинец матушке, Марье Алексеевне. И когда шел со связкой Мольера, Буало, Расина, посасывала жалость: не купил, не купил, дурной сын, ничего не купил, негодный сын, ни даже ниток, ни иголок. Но маменька, ах, маменька, царствие вам небесное, как уж радовалась она!..

Так вот, «Кофейница», помнится, зело показалась славнейшему актеру Ивану Афанасьевичу Дмитриевскому. Он слегка пожурил, правда, за Новомодову, которая нравом своим походила на фонвизинскую госпожу Простакову. Так, мол, и так, мол, юный пиит, полегче с этими самодурами из знати, а то, гляди, кто-нибудь при дворе и на свой счет принять может. А попробуй-ка ты, брат, свои силенки в трагедии, может, ты тут лев молодой.

Вот только не подумал Иван Афанасьевич, что у львов-то быстро когти вырастают, и уж чем-чем, а когтями меня бог не обидел. Хотя и сочинил я трагедию «Клеопатра», а все матушка Екатерина с распутниками фаворитами выходила. Сидели-сидели, рядили-рядили, марали-марали мы с Дмитриевским и наконец окончили трагедию. Долго не мог тогда у меня заснуть Иван Афанасьевич: все дрожал да на темные углы озирался. С тех пор как встречался я с Дмитриевским, а доводилось частенько с ним после видеться, так его все словно оторопь брала, хе-хе. «Принимайся-ка ты, брат, за древнегреческий сюжет». И я, как на грех, написал «Филомелу», в коей выведен кровожадный монарх Терей. Жрец Калхант грозит ему мщением народным. Дмитриевский

как прочитал, побледнел, пальцем погрозил. «Истинный твой Калхант — Пугачев!»

Когда затея с «Филомелой» провалилась, он снова сказал: «Нет, братец, пиши уж комедии, ибо не Расин ты, а Мольер», и сочинил я «Проказников». Простосердый Иван Афанасьевич поначалу не заметил, что на сюжет напал я в его же доме. Вернее сказать, сюжет сам набрел на меня.

А было так. В доме Ивана Афанасьевича наткнулся я на госпожу Княжнину, супругу драматического писателя. Разговорился и посетовал, что за свои пьесы не получаю ничего, кроме бесплатного билета в театр на рублевые места.

— Сколько же раз вы пользовались этим правом?

— Да раз пять.

Она захохотала во все горло:

— Нашелся же писатель за пять рублей!..

Погоди ж ты! Всю ночь сочинял я комедию «Проказники», а в ней под именем Рифмокрада вывел Княжнина (он запретил мои комедии «Бешеная семья» и «Сочинитель в прихожей»), а в лице Тараторы — эту самую его супружницу. Писал и видел перед собой ее нарумяненное лицо с вздернутым носом. С мелко завитых волос пудра сыплется. Таратора без умолку тараторит, сочиняет чувствительные стишочки и тут же лупит по щекам своего волосочеса-парикмахера.

Бедный Иван Афанасьевич довольно потирал руки и, уверенный в том, что уж тут-то никакой сатиры на правителей быть не может, на свой манер выправлял пьесу, приближая ее к правилам сценическим. Через три дня с письмом Дмитриевского отнес я пьесу господину Соймонову, у коего под началом служил в ту пору в Горной экспедиции. Влиятельный этот вельможа, заведующий театром, выдавал мне милостиво бесплатные билеты. Соймонов показал «Проказников» Княжнину, а

тот сразу узнал в них супругу и себя. Опять каша заварилась. Перепуганный Дмитриевский сунул мне письмо, полученное им от Княжнина; тот корил его за потворство Крылову. «Знай, я от тебя отмежевался, — горячился Дмитриевский. — Хорошо, такую свинью подложил! Видеть тебя не могу. Иди с глаз долой!»

Я-то, конечно, знал про себя, что не выдержит долго Иван Афанасьевич, да виду не подал и повернулся уходить. Дмитриевский заморгал, что-то хотел сказать, да горло слезами перехватило. Я знал: ненадолго эта разлука. Но тогда не только театр, но и службу бросать приходилось. И правда, когда через неделю вошел в театр, то служители мало того, что не пустили; да еще и под руки, как пьяного, из подъезда вывели. Недолго думая, отчислился от Горной экспедиции, видеть Соймонова больше не мог. Не на коленях же вымаливать у него прощение! Но простить ему и Княжнину такую обиду по тем временам не собирался.

С Княжнина и начал. Написал ему письмо: мол, удивляюсь, что он находит сходство действующих лиц пьесы со своей семьей. Писал, что в муже вывожу парнасского шалуна, крадущего лоскутья у французских и итальянских авторов, — он выдает их за свои сочинения, — а в жене показываю развращенную кокетку, украшающую голову мужа известным головным убором; восхищаясь достоинствами своего супруга, она не пренебрегает и физическими дарованиями в других мужчинах... «Обижая меня, вы обижаете себя, находя в своем доме подлинники столь гнусных портретов. Выпишите же из сих характеров все те гнусные пороки, которые вам или вашей супруге кажутся личностью, и дайте знать мне, а я с превеличайшим удовольствием постараюсь их умягчить». Закончив письмо, принялся за второе — к вельможе Соймонову. Этого отделал, пожалуй, похлеще. Эх, молодость, молодость, сейчас бы не написал такого... А тогда пустился играть с запятыми. Думаю: прочел-

таки вслух Соймонову это письмо секретарь его, как у них по обыкновению водилось. Представляю, как взбеленился вельможа. Там ведь были славные строки:

«...последний подлец, каков только может быть, ваше превосходительство, огорчился бы... Пусть бранится глупый, ваше превосходительство, такая брань, как дым, исчезает...»

Нужно было отшлепать Соймонова за лишение самого сладостного в жизни — театра, и я писал:

«Правда, я не редко смеюсь в трагедиях и зеваю иногда в комедиях, но видя глупое, ваше превосходительство, можно ли не смеяться или не зевнуть? Я же смеюсь и зеваю столь тихо, что никакого шума сим не делаю... Но сего, ваше превосходительство, конечно, не поставите мне в вину, ибо я не вижу способа, чтоб от того себя предостеречь, — разве одним тем, чтоб садиться к театру задом...»

Я собственноручно снял несколько копий с этих писем, просил то же сделать приятелей и, послав по одному экземпляру адресатам, остальные пустил по рукам. То-то была потеха! И тем хоть отчасти развеял я большую свою досаду.

...Почему все это вспомнилось сейчас, уж и не знаю. Тогда казалось: с театром покончено. Но при поддержке верных друзей через малое время снова вышел на тернистую дорогу комедиографа российского. Много потом писал я комедий, издавал журналов, но все кануло в Лету. Сколько раз возмущалась душа. Но не дозволено называть вещи своими именами, все приходилось выдумывать каких-то вещей гномов, волшебников, несущих всяческую околесицу. И все-таки однажды не выдержал.

Художник Скородумов за отменный талант откомандирован был в дальние края, в Англию, где издатели

сулили ему разные блага, лишь бы остался. Но Скородумов рвался в Россию, без чего не мыслил жизни. И что же? В своем отечестве пренебрегли им, ибо, как вещал секретарь моего волшебника Маликульмулька (надо же было такое имя придумать!), у нас «своих художников и их работу ни за что не почитают, а уважают одно привозимое из-за моря». Скородумов предался с горя пьянству и на 37-м году помер. Секретарь Маликульмулька называл его Трудолюбовым. Но чтобы не осталось у столичных жителей и последних сомнений, кто же этот Трудолюбов, я заставил художника сделать такое признание:

«...не размышляя ни мало, предался пьянству. Знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что же делать, когда я, скоро думав, сделался совершенным пьяницею; известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу».

Я получил тогда немало лестных писем от истинных ревнителей просвещения за то, что смелой и хитрой речью имя погубленного художника Скородумова не дал забыть.

И было у меня еще одно доброе дело. Когда схватили Александра Николаевича Радищева за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» и приговорили к смерти, меня охватило смятение. Чем же, чем могу помочь? Дни проходили в бесплодных размышлениях, и наконец кое-что придумал. Как раз в те дни Россия заключила победный мир со Швецией. Вот уже два года шведы никак не могли нас осилить и в конце концов отказались от восточного побережья Финского залива. По этому поводу, но с тайной думой о Радищеве принялся я за оду. Пополнять строй трескучих од Василия Петрова было невесело. Но потомство простит меня за сей невольный грех.

О, сколь блаженны те державы,
Где, к подданным храня любовь,
Монархи в том лишь ищут славы,
Чтоб, как свою, щадить их крови!

Я поставил тут, вопреки грамматике, восклицательный знак, конечно, с единственной целью обратить внимание государыни, коей и посвящалась ода. Пользуясь заключенным миром, восхваляя милосердие Минервы, то бишь императрицы, к пленным шведам, воспевая «непомраченну злом корону», я вновь славил правый суд над пленными. Была тут и гидра злобы, норотившая копать когтями могилу и готовить для народов «чашу слез», и не менее страховидная геенна, и прочие обветшалые чудища из чулана вчерашней одической поэзии...

С печатанием нельзя медлить ни дня, ни часа! Впервые в жизни никаких придирок со стороны цензоров я не предвидел, — кто, в самом деле, откажется пропустить в печать верноподданнейшие вирши? Но августовские журналы уже печатались, а топор палача уже был занесен над головой Радищева. И тогда я на все скудные сбережения, да еще и признав у друзей, отпечатал оду отдельной книжицей.

До сей поры не знаю, да и не узнаю никогда, прочла ли ее правительница. Но Екатерина помиловала-таки Радищева, заменив казнь десятилетней ссылкой в Сибирь. И, как знать, быть может, и моя капля меду есть в чаше этого милосердия!

Павел I вернул тогда Радищева из ссылки. Допущенный до государственных занятий уже при Александре I, Радищев покончил с собой, когда ему напомнили, что «он принял за старое». Это потрясло меня, и перо выпало из рук моих. Да и что, о чем писать? Жизнь опостылела. Мне шел злосчастный тридцать седьмой год, возраст, в котором умер Скородумов. Что позади? Хмурое детство; отец, всю жизнь тянувший лямку беднейшего офице-

ра, — отличного, безропотного служаку вечно обходили в чинах, от непосильных воинских трудов скончался он рано; матушкино горе и долготерпение; мое добывание хлеба с пятнадцати лет; неустанная забота о младшем брате Левушке; непрерывный горький труд литератора и злые гонения власть имущих...

Перебираю в памяти все написанное тогда и чувствую, что, пожалуй, только вот эти строки и останутся от журнального Ивана Крылова, ибо они составляют наиболее ясный осколок того зеркала жизни, которая, кривляясь, проходила мимо меня и заставляла быть ее участником:

«Чем более живу между людьми, тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причина заставляет прыгать, кричать, плакать и смеяться. Знатная барыня заплачет — и в ту же минуту все лица вокруг нее сморщатся; большой барин улыбнется — и вдруг собранные вокруг его машинки на красивых каблучках начинают хохотать во все горло. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах, которыми движут такие же машины: «светская благопристойность, щекотливая честь, обряды и моды».

Нет, я решил отстать от литературы: принял приглашение одного московского барина быть секретарем, жил в его семье, поигрывал в карты с его родней и гостями, прогуливался по рощам и лазал по гротам в ихней подмосковной.

Однажды, перебирая небольшую свою библиотеку, с коей не расставался нигде, — она заключалась в облупленном сундучке, — взял я в руки томик басен Лафонтена. Некогда нежно-зеленый переплет его изрядно обгрызли мыши, один из прежних владельцев облил титульный лист лампадным маслом, кто-то из малышей пытался вырвать, а другой — раскрасить прелестные

старинные гравюры, — словом, продавец уступил книгу за пятиалтынный.

А ведь когда-то я перевел одну из Лафонтеновых басен, это было вскоре после переселения из Твери в Петербург, и Иван Иванович Бецкий, президент Академии наук, даже похвалил мое переложение.

Да, вот она, басня эта — «Дуб и трость». Она еще тогда удивила меня правдой и мудростью. В самом деле, свирепые жизненные бури поразили немало царей, правителей сынов человечества, а люди незаметные, незнатные, подобно тростинке, пригнулись к земле — и целехоньки. Но басню эту перевел Иван Иванович Дмитриев, наш русский Лафонтен, куда уж мне с ним тягаться!.. Нешто попробовать — уж больно хороша басенка... Как там у Дмитриева?

Дуб с тростью вступил однажды в разговор:
— Жалею, — Дуб сказал, склоня к ней важны взоры, —
Жалею, Тросточка, об участи твоей!
Я чаю, для тебя тяжел и воробей;
Легчайший ветерок, едва струящий воду,
Ужасен для тебя, как буря в непогоду,
И гнет тебя к земле.
Тогда как я — высок, осанист и вдали
Не только Фебовы лучи пересекаю,
Но даже бурный вихрь и громы презираю...

Перевод все хвалили, а все же «ветерок, струящий воду», — плохо, да и дуб, пересекающий Фебовы лучи, не лучше. Вряд ли такое может быть у Лафонтена. Ведь каждый звук, каждое слово должны быть только именно на своем и ни на каком ином месте. И я пробовал так и эдак ставить слова и фразы, шлифовал и шлифовал снова и снова. И добился-таки!

Я перевел тогда же и «Разборчивую невесту». Дмитриев ее не касался, а из отечественных баснописцев перелагал лишь граф Хвостов, но как! В Москве, у Раз-

гуляя, в скромном деревянном домике Василия Львовича Пушкина — а я когда-то печатал его стихи в своем журнале «Зритель» — повстречался я с Дмитриевым. «Русского Лафонтена», ближайшего друга Карамзина, приглашали в Петербург занять высокий государственный пост, и он вовсе собирался оставить поэзию. Слово за слово, разговорились. В беседе я упомянул, что как-то от нечего делать перевел две басни Лафонтена. «Какие же?» — «Дуб и трость» и «Разборчивую невесту». — «Первую из них переводил и я! Покажите мне их!» Они были в кармане, но я и виду не подал. Дмитриев настойчиво просил прислать ему басни. Делать нечего — послал. Маститый пиит пожелал немедленно увидеть меня, и когда мы встретились, произнес с большим чувством: «Это истинный ваш род. Остановитесь на сем литературном поприще».

Басни появились в «Московском зрителе», издатель его, восторженный князь Шаликов писал:

«Я получил сии прекрасные басни от И. И. Д. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить то удовольствие, которое они принесли ему».

Дмитриев оценил мои труды над отшлифовкой каждого слова, каждого знака препинания. Я искуснее его сблизил басни Лафонтеновы с русской речью.

И о баснях моих пошел разговор.

Так напал я на «золотую жилу». Нет, это не была случайная находка, все добыл в подспудных работах.

За один 1808 год я напечатал двадцать басен в сборниках старого приятеля князя Шаховского «Драматический вестник». Тут уж пошло! Завелись друзья, и прежде всего — меценат и хлебосол, президент Академии художеств Оленин, у него собирались литераторы петербургские, живописцы, ученые. Изящный безукоризненный вкус Оленина, совершенное знание им французского пленяли. Лишь иногда, редко-редко, в глазах этого

маленького горбатенького человечка проскальзывала тревога: а ну как Крылов опять поднесет сатиру на царей! Впрочем, к басням придинок не было: что взять с медведей и ослов, лягушек и голубей? Кроме того, это были всего-навсего переводы с француза Жана Лафонтена. Я их только перекраивал на русский лад, и все хвалили: мол, слова у меня простые, так говорит народ, и подогнаны ладно, как двери у хорошего плотника, а мыслям-таки вольготно.

Но захотелось сочинить и свою басенку, без помощи Лафонтена. И вылилась она как-то сама собой. Однажды прилег на диван после обеда и позолоченным карандашиком — подарок оленинской жены Елизаветы Марковны — царапал на бумаге физиономию повстречавшегося на Невском чванливого вельможи с оттопыренными губами. Испытывал чувство какого-то покоя и удовлетворенности, что вот, преодолев ненастье и бездорожье, вышел наконец на торную тропу, которая приведет именно туда, куда надо. Нет, не в царство бессмертия — о таком и не помышляю, — просто было ощущение, что иду в некий добрый, гостеприимный дом, хозяева которого ждут не дождутся Ивана Андреевича Крылова с его притчами, написанными и еще не созданными. Ибо этим людям больше всего на свете нужен он со своими басенками: распотешит весело и мудро, хитро и просто ответит на самые заветные и заковыристые вопросы, что преподносит бестия-жизнь.

С этим чувством и принялся я сочинять свою басню «Ларчик». Я как бы подтрунивал в ней и над собой: вот ведь не догадался «просто» открыть ларец, который давно уже держал в руках, а все вертел без толку, «то гвоздик, то другой, то скобку пожимая». Только в отличие от моего же «Механики мудреца», я таки открыл ларец! Открыл, а в нем жемчуга и перлы народной мудрости; извлекай и показывай людям их же творение!

...«Извлекай и показывай!» Поди как просто! Это ведь и про иного достославного ваятеля можно сказать, что он «просто» удалил все лишнее и явил миру сокровище, которое в нем вроде и раньше было.

Но если «Ларчик» предстал плодом рассуждений о собственной судьбе и словно бы никого не задевал, то руки опять чесались сочинить такую свою басню, которая ловко обличала хотя бы некоторые великие непорядки в государстве. Знал, знал наперед, что так будет! Но как же не высмеять, к слову, академию Российскую, коль это сборище сиятельных ослов! Только уж на этот раз сочинял и знал твердо: пройдет-таки басенка благополучно. Кому же захочется признать себя в ней?

Академию основали при Екатерине II для «всех лиц, имеющих заслуги перед русской литературой». А поналезли в нее болваны высокопоставленные. Они рассыпали трескучие витиеватые фразы о своих чувствах верноподданнических, о ревности к просвещению. Зачитывали длиннейшие бумаги, уснащенные канцеляризмами и церковнославянщиной, давно ушедшей из разговорной речи. Никакого движения вперед для литературы и не чаялось в этом заплесневелом стоячем болоте. А уж если кто и произносил свежее живое слово, того объявляли бунтовщиком, якобинцем.

Ретроградов сих изобразил я в басне «Парнас». Когда-то на горе парнасской заседали боги, а теперь она превратилась в ослиное пастбище. Обитатели его уверены, что

...музы свету надоели
И хочет он, чтоб мы здесь пели.

Решили не принимать на Парнас тех, в чьем голосе нет «ослиного приятства».

И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.

Чем же все окончилось? Хозяин ослиного пастбища, наслушавшись такого пенья, загнал всех певцов в хлев.

А вот и мораль:

Мне хочется невеждам не во гнев
Весьма старинное напомнить мнение,
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.

Прозорливый, змеино-мудрый Оленин весьма испытующе, хотя внешне и добродушно, все поглядывал на меня на правах первого цензора домашнего, когда я читал ему «Парнас». Не догадался... или сделал вид, что не догадался. Басня и в самом деле походила на Лафонтену, точнее, на перевод Лафонтена с Эзопа — в ней ведь фигурировали Парнас, музы. Ему, видимо, не пришло в голову, что «Нави Вольтер» — так подписывался я, бывало, в журналах — опять проснулся во мне и принялся за свое. Оленину очень не нравилось это «Нави Вольтер», он поговаривал, что в нем ему чудится что-то и от зловещих навьих чар и вместе с тем от лязгающего зубами волка.

«Ларчик» была моя первая оригинальная басенка, «Парнас» — вторая, но и тогда, когда я «переименовывал» Лафонтена, то выбирал я ту или иную его вещь случайно. Вот, к примеру, «Ворона и Лисица». Лафонтен-то Лафонтеном (а раньше Эзоп и Федр), но и графа Дмитрия Хвостова, виршеплета и члена Российской академии, прозвать следовало — истинная он ворона в ряду пиитическом! Сия «птичка» ради похвал своим вороньим стихам готова даже отдать кому угодно кус сыру, благо его немало.

Пришел ко мне однажды знакомый. Идем, говорит, к графу Хвостову денег просить. «Как так?» — «Да так, — говорит, — доверься уж мне». Пришли. Хвостов

обрадовался несказанно. «Сейчас прочту вам свои стихи». — «Дай прежде двести рублей», — говорит мой приятель. «Дам, но выслушайте наперед», — «Нет, брат, не проведешь, дай денег, а там читай сколько угодно». — «И вы останетесь, будете слушать?» — «Останемся и будем слушать». Хозяин отсчитал двести рублей, мы уселись, и началось чтение с жаром. Там были басни и про зубастого голубя, и про лезущего на березу осла, и другая несусветная чушь. Долго это продолжалось, и мы выходили из терпенья. «Уйдем», — шепнул мне знакомый. «Неловко». — «Как хочешь, а я исчезаю». Я тоже вышел следом, но замешкался в передней. «Не правда ли, друзья, что стих сей гениален?! — донеслось из комнаты. — Ах, проклятые, да они ушли!» Я поспешил улизнуть.

...Годы бегут, как гремучие ручьи, которые так люблю глядеть по весне, когда сладостный аромат просыпающейся природы навевает что-то давно забытое, томит предчувствием нежданно-радостного и манит в дальние поля. Как скучаю я по лугам и лесам России в каменном мешке Петербурга! Может, потому и обращаюсь к деревьям, цветам и всяческим там жукам, муравьям и стрекозам и, когда выпадет счастье вырваться хотя бы в оленинское Приютино, готов часами любоваться «в мягких муравах» хлопотливой жизнью насекомых.

«Стрекозу и муравья» — басню эту хвалил сам Жуковский — написал я необычным для меня легким пляшущим хореом, наблюдая над прудом беспечное, бездумное порханье эфирных стрекозок. А потом набрел в парке на огромный муравейник, где каждый житель деловито снует, занятый своим трудом. И, о ужас, прозевал обед, да еще и вызвал беспокойство любезнейшей Елизаветы Марковны! И сам не меньше ее расстроился,

что лишился кушаний. Но тут — о чудо! — Оленин захлопал в маленькие свои ладошки, муравьями забегали слуги, выглянул испуганный поваренок в белом колпаке, и вскоре из кухни отрадно запахло курятиной. По-есть я люблю, это правда, но уж не до такой степени, как об этом говорят городские сплетники. Да ведь и обедаю все больше на людях, у Олениных или в Английском клубе: дома моей Фенюшке не до обедов — родила дочку. Но и в клубе за столом словишь порой славный сюжетец для басенки. Приезжий из провинции помещик как-то рассказывал:

«Раз перед самым моим домом на Волге вытащили стерлядь. Вы не поверите, но уверяю вас, длина ее отсюда до... конца стола». Стол был длиннехонький, и помещик протянул руку к концу его, где как раз сидел я. «Позвольте мне отодвинуться, — сказал я соседу, — дабы пропустить эту диковинную рыбу».

Слова мои покрыл хохот, враль готов был провалиться под пол, а я после обеда, притворившись спящим, сидел в креслах и сочинял в уме басню — это обычный мой способ. И только когда уже отстоится, отшлифуется в голове, нехотя беру перо. В басне «Лжец» решил я прохватить всех вралей, подобных волжскому помещику, хвастунов безмерных, вроде нашего добрейшего Павла Петровича Свинына с его кунсткамерой, где навозные мухи выдаются за африканские, и с его рассказами о путешествиях по странам, в коих он никогда не бывал.

Весной 1823 года разбил меня небольшой паралич. Года четыре назад перед тем я ничего не печатал — сочинял не спеша новое да оттачивал старое. Разговору обо мне по городу не было, разве кто слегка пожурит: «Что ж ты замолк, Иван Андреевич?» — «Все занятия по библиотеке, да и лень обуяла». Когда же приключилась болезнь, вдовствующая императрица Мария Федоровна пригласила меня для поправки здоровья в свой Павлов-

ский дворец, и это тотчас стало известно в столице. Покойный Кондратий Федорович Рылеев написал эпигramму, она ходила по рукам:

Нет одобрения талантам никакого.
В России глушь и дичь.
О даровании Крылова
Едва напомнил паралич.

Сначала в Павловске отдыхал я всласть. Уединение, великолепие парков, мраморные памятники в зелени и несказанного изящества Розовый павильон — искусно построенный Воронихиным деревянный домик в окружении бесчисленных клумб с розами всех цветов и оттенков от алых до палевых, до голубых и почти черных — словом, благоухающий остров Цереры, Аркадия... В сей блаженной Аркадии я быстро пошел на поправку, и, видя то, стали меня приглашать в Розовый павильон, где Николай Михайлович Карамзин читал «Историю государства Российского», а Жуковский, Гнедич и Нелединский-Мелецкий услаждали стихами императрицу и ее фрейлин. Чую, дело плохо, и до меня доберутся, я же покоя лишаться не хотел, да и не к чему простонародной русской речью тешить слух стрекозок-фрейлинок Софии-Доротей — так еще по старинке называли вдовствующую супругу Павла I.

Кормили нельзя сказать, чтобы до отвала, — всякие там консоме, суфле, бланманже, правда, подавали в тарелках и соусниках с розами — на то он и павильон Розовый. Порции мизерные, приносят с поклонами да ужимками, лакеи за стульями истуканами стоят. Но чуть ложку положишь, блюдо подхватывают, и поминай как звали. Перерывы между блюдами длинные — слюной изойдешь. А по мне щи так щи, каша так каша, пироги так пироги, да вволю, да без промедления.

Я вначале церемонился, но надоело голодным из-за

стола вставать и уж ел вдоволь все подряд, не ждал, когда пододвинут блюдо, сам и накладывал, да ложку и вилку крепко держал. А императрице, оказывается, пришла блажь покормить меня каким-то собственноручно изготовленным яством, и она все дожидалась, когда я ложку положу. Наконец завитой, как баран, напomaженный Нелединский-Мелецкий с досадой шепнул мне: «Иван Андреевич, да пропусти хоть одно блюдо и дай императрице попотчевать тебя». — «А ну как не попотчует!» — произнес я довольно громко, нарочно, чтобы все слышали, да и пристыдить этого шаркуна хотел. И в самом деле, на время отстали со своими дурацкими церемониями.

Но однажды все-таки явились за мной. Выдумали обед в честь дня рождения фрейлины Ушаковой, а потом, видите ли, «его величество царствующий сын и ее величество мать-императрица соблаговолят выслушать басни господина Крылова».

Ну уж нет, потачки не дам. Раз, другой басенки им почитаешь, а там и роздыху не дадут: говорят, у меня это чтение неплохо выходит. Я ответил, что укушен ядовитой мухой, весь распух, быть не могу. Потом-таки струхнул: а ну как дознаются. Обвязался полотенцем, залег в постель и намарал стихи фрейлине-имениннице в стиле придворных посланий.

Сильна еще память, не изменяет... И хоть эти стишки против басен никудышные, вертятся вот до сей поры в голове:

Обласканный не по заслугам,
И вам, и вашим всем подругам
Крылов из кельи шлет поклон,
Где мухою укушен он,
Сидит, раздут, как купидон —
Но не пафосский и не критский,
А иль татарский, иль калмыцкий.
Что ж делать?.. Надобно терпеть!
Но чтоб у боли сбавить силы,
Нельзя ль меня вам пожалеть?..

Вы так добры, любезны, милы, —
Нельзя ль уговорить подруг,
Чтоб вспомнить бедного Крылова,
Когда десерт пойдет вокруг?..
Поверьте, он из ваших рук
Лекарством будет для больного.

На сей раз сошло, даже фруктов и конфект при-
слали...

Рассказал я сдуру об этой проказе посетившему меня Оленину, тот всплеснул руками и, как паучок по паутине, вокруг меня забегал: «Так-то ты отвечаешь на благосклонность их величеств. Это уж становится вызовом. Не жалеешь себя, меня пощади — ведь все знают, что я твой покровитель!» Я и сам вижу: переборщил. «Ладно, — говорю, — ведите басню читать, только не знаю какую». Радостный Оленин паучком-паучком побежал во дворец. Прибегает, отдышаться не может, лапкой за горбатую грудку хватается. «Я все уладил. Будут разыгрывать в лицах твою басню «Демьянова уха». С сего дня и репетировать начнут. Ну уж не подведи!» Делать нечего. Подвязали мне бороду, надели армяк, и стал я Фокой, которого обкормили до полусмерти. Князь Федор Голицын разыгрывал хозяина, княгиня Хилкова — хозяйку. Под конец выступил Оленин и сообщил, что басню эту я впервые прочел на заседании общества «Беседы» после чтения неким сенатором своего нуднейшего и длиннейшего сочинения.

Оленин тут же прочитал конец «Демьяновой ухи», как бы оправдывая мою неохоту к частым выступлениям.

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь,
Но если помолчать во время не умеешь,
И ближнего ушей ты не жалеешь,
То ведай, что твоя и проза, и стихи
Тошнее будут всем Демьяновой ухи

Пришлось для гостей Розового павильона играть спектакль не раз и не два, а потом и другие басни читать приневолили. Но вскоре это смерть как наскучило и потянуло в свой неуютный дом, к Фенюшке. А из Павловска все не отпускают. Как быть? Сочинил басню «Василек», посвятил ее вдовствующей императрице и вписал в альбом Розового павильона. Там рассказывалось про скромный полевой цветок, который было совсем заках в ночи, но утром взошедшее солнце его волшебю оживило. Намек понят, императрица посчитала себя солнцем, и я был отпущен на волю.

Оленины говорят, императрица благоволила ко мне. И правда, она прислала мне в подарок изящнейшую тончайшую чашечку из саксонского фарфора с прелестным изображением василька. Но, видно, ей стало жалко чашечки, и она послала за ней камер-лакея. Я же решил проучить старуху за жадность и сказал, что чашка разбилась. Представляю, как вытянулась физиономия императрицы, но мне-то чашку куда девать?

Со своими баснями я все-таки чуть не попался на крючок цензуры, да благодетель Оленин опять выручил. В бозе почивший император Александр препоручил Аракчееву управлять Россией, и тот начал строить военные поселения, кабалить и без того закабаленный народ. Ропот слышался на Аракчеева отовсюду, император же непрерывно вояжировал, все больше по чужим странам, но иногда и по дальним окраинам нашим. Остановившись в одном из домиков какого-то городка близ Архангельска, он увидел в окно приближение толпы. «Кто это?» — спросил он у губернатора. «Депутаты, ваше величество. Они желают принести вам благодарность за процветание края». — «Скажи, что я занят».

Губернатор вскоре получил награду, а потом выяснилось, что толпа шла с жалобами на того самого лихоимца-губернатора. Терпеть я более не мог и на-

писал басню «Рыбьи пляски». Сидел над ней, почитай, неделю, отделал до блеска и пошел читать к Оленину.

Никогда я не видел Алексея Николаевича таким! Его гнев по поводу моего нежелания идти в Розовый павильон был ничто в сравнении с этим. Он схватился за свою выпирающую грудку, застонал, повалился на бок, и я думал, что его хватит кондратий. Потом он истошно закричал на меня фальцетом, благо никого не было. Он кричал вне себя, суча ножками, что я должен благодарить судьбу и царей, которые со мной не расправились лишь до поры до времени, что я несколько не лучше бунтовщика Радищева, что меня немедленно заковали бы в кандалы и отправили в Сибирь, если бы он кому рассказал всю подноготную о моих баснях, кричал, что я как был, так и остался Нави Вольтером.

Когда Оленин поостыл, я все же заметил, что басенка-то хороша и что лучше, пожалуй, не напишу, и кабы не концовка, ее можно было бы и печатать. Оленин взял листок в руки и стал внимательно вчитываться. «А, пожалуй, погорячился я зря! Ведь и вправду, если переделать конец так, чтобы царь-Лев примерно наказал виновных, а наш император — это само святое правосудие! — то, пожалуй, басня выйдет патриотическая. Но, конечно, мужика надо переделать в Лису. И никаких намеков на Аракчеева!»

Что делать? Мне хотелось оставить хотя бы часть басни, и поэтому пришлось последовать совету Оленина. Если в первоначальной басне Лев милостиво лизнул старосту, видя, как пляшут рыбы на сковородке, то в переделанной Лису-секретаря и Воеводу он «в своих когтях заставил петь».

Но и в таком виде басня увидела свет лишь через три или четыре года, когда память о встрече государя с тем губернатором несколько потускнела. Ну а басню «Пестрые овцы» при жизни напечатать не удастся нипо-

чем — это знаю доподлинно. Она тоже написана на царя и Аракчеева.

В 1820 году неожиданно для императора взбунтовался Семеновский полк, отличившийся в Бородинской битве, да и всегда славившийся воинским духом и дисциплиной. Но в конце концов, измученные бессмысленной муштрой, солдаты отказались повиноваться командиру-зверю. Семеновцы были одеты пестро: мундиры темно-зеленые, штаны белые, петлицы желтые с синим. Узнав о бунте, Александр I созвал совет, выслушал Аракчеева и иных присных и распорядился зачинщиков бунта сослать в Сибирь, а солдат перевести в другие полки. Злобный солдафон Аракчеев, готовый на самую дикую расправу, мне удался. Это Медведь. Когда царь-Лев спросил Медведя, что делать ему с пестрыми овцами, которых он не мог выносить за их «пестроту»,

«Всесильный Лев! — сказал насупись Медведь: —
На что тут много разговоров?
Вели без дальних сборов
Овец передушить. Кому о них жалеть?»

Однако, услышав такой совет, Лев нахмурил брови, и тогда Лиса (нашелся-таки царедворец похитрей Аракчеева)

Смирненно говорит: «О царь! Наш добрый царь!
Ты, верно, запретишь гнать эту бедну тварь —
И не прольешь невинной крови...»

И Александр мне удался! Такие советы — лишь бы самому остаться в стороне — он обожал. И, зная то, Лиса предложила отвести овцам самые сочные пастбища, в пастухи же им дать волков.

Лисицы мнение в совете силу взяло, —
И так удачно в ход пошло, что наконец
Не только пестрых там овец,
И гладких стало мало.

В басне этой я объединил два события: бунт Семёновского полка и волнения в Петербургском университете, где ранее распространялись вольные, «пестрые» мысли, а теперь поставлены такие профессора, которые вывели начисто «пестрых овец». Я понес эту басню, минуя Оленина, прямо в цензурный комитет, благо там был знакомый цензор. Я сказал, что показываю ему неофициально. И прошу лишь содействия. Тот пригласил меня пройтись, взял под руку и тихохонько так заметил:

«Любезный друг мой, Иван Андреевич! Памятуя твою старинную хлеб-соль, скажу тебе по-дружески: не отдавай ты своих «Овец» в наш комитет, ибо, попомни мое слово, скушают-таки их наши пастухи, да и тебя заодно».

Четырнадцатого декабря 1825 года, узнав о восстании на Сенатской площади, я быстро пошел туда, размахивая тростью. Раздавались выстрелы, над плацом нависли клубы ружейного дыма, на лицах встречаемых я видел смятение и ужас, на мостовой валялись убитые и корчились раненые, до меня доносились хриплые выкрики офицеров. Я хотел войти в самую гущу толпы, но, увидав мою тучную фигуру, знакомый полковник сказал строго:

«Уходите, Иван Андреевич, вам здесь быть нельзя». Я понял, что мое присутствие ничего не изменит, ибо восстание подавлено. Я ушел, содрогаясь, ведь многих офицеров, над которыми вскоре учинили расправу, я знал близко.

Потом я часто вспоминал казненного Рылеева. Конечно же, в беспощадном приговоре царя отразилась и его злоба на Рылеева — сочинителя и издателя. Рылеевская ода «К временщику» ходила в народе, и всем было очевидно, что она относится к Аракчееву. В свое время Рылеева спас Александр Тургенев, который признался мне, что применил способ, изобретенный мной в письме к Княжнину. Бенкендорф поручил Тургеневу рассле-

довать дело с рылеевской одой, имевшей подзаголовок «Подражание Персиевой сатире», и Александр Иванович написал Аракчееву приблизительно следующее:

«Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Проперция сатиры, переведенной стихами, требует, чтобы я отдал под суд и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то прежде, чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет».

«На свой счет» Аракчеев, как в свое время и Княжнин, сатиры не принял, и в ту пору все вроде обошлось благополучно.

Я отнюдь не разделяю большинство идей тайных обществ и считаю цареубийство бессмысленным. Но четыре года после восстания писать я не мог. А затем принялся за басню «Пушки и паруса», в коей заговорил о пагубности для России внутренних распри. Когда же увидел, что от кормила корабля государственного отставлены лучшие умы за то лишь, что сочувствовали декабристам или состояли с ними в родстве, то ополчился против сей трусости и глупости (не знаю, чего здесь больше!). Басню эту «Бритвы» высоко ставит Николай Гоголь, человек зоркости необыкновенной, чудо и надежда молодой нашей литературы. Он мне сказал, что, по его мнению, это лучшая моя басня, что он полностью разделяет ее иносказанье и что правительство зря опасается достойных и умных людей за их даже малейшую причастность к восставшим... У меня в басне как раз и выведены те недалекие сановники, которые уподобляются лицам, предпочитающим бриться тупыми бритвами вместо острых из-за боязни порезаться. Вовремя бритья они так кисло морщат рожу, как будто с них кожу сдирают.

Я не стесняюсь и говорю прямо:

Вам пояснить рассказ мой я готов:
Не так ли многие, хоть стыдно им признаться,
С умом людей боятся
И терпят при себе охотней дураков.

* * *

Ну вот и рассвет близится. В окошках — вижу через занавеску — уже теплятся огоньки в домах: то встают сапожники, белошвейки или еще какой трудовой люд. А я вот спать лягу. Как проснусь, всю мебель эту модную, для нынешних гостей купленную, — в чулан, новый фрак — в дальний шкаф, — не в нем же, в самом деле, на службу завтра идти. Только вот придется напялить его на новоселье у книгопродавца Смирдина. Рядом с Пушкиным сесть надобно. От солнца его поэзии истине тепло и светло.

...Иван Андреевич задремал в кресле. Тучный, с могучей головой и седой гривой волос, походил он на спящего льва.

ГИМН ЧИТИНСКОГО ОСТРОГА

Декабристы распевали натенинский гимн... на каторге и в ссылке. В частности, известно, что в Чите они выходили на работы с этой песней, причем <конвойные> офицеры и солдаты слушали ее и маршировали под такт ее.

Вл. Орлов

...На рассвете, под пасмурным небом сибирского края, заглушая звон кандалов, усталые люди негромко начинали гимн:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей!

И конвоиры, не разбирая, не понимая смысла слов, но ощущая воинственный напев, дружно подхватывали:

Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.

...В тот вечер играла знаменитая Семенова. Несмотря на летнее время, театр оказался полон.

Завзятый театрал, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, поэт Павел Александрович Катенин сидел в своем постоянном кресле во втором ряду партера. В антракте Катенин заметил литератора Гнедича, сидевшего неподалеку, и поклонился.

Вскоре Гнедич подошел к Катенину и представил смуглого курчавого юношу с бакенбардами.

— Вы знаете его по таланту. Это лицейский Пушкин.

Катенин, конечно, читал многие стихи Александра Пушкина. Он выразил искреннее сожаление, что завтра выступает с полком в Москву, тогда как очень хотел бы побеседовать с молодым поэтом. Пушкин, в свою очередь, заметил, что давно желал бы встретиться с Катениным, но что он также скоро должен выехать из Петербурга.

В залог будущей встречи они крепко пожали друг другу руки и взаимно пожелали счастливого пути.

В Петербург Катенин вернулся через год. Он носил уже эполеты полковника. Однажды он присутствовал на завтраке, который задал его товарищ по полку. Все преображенцы квартировали тогда в казармах на углу Большой Миллионной и Зимней канавки. Во время завтрака слуга доложил Катенину, что его спрашивает Пушкин.

— Граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин?! — с уверенностью переспросил Катенин.

— Да нет, просто Пушкин, из себя молоденький, небольшой ростом.

Катенин поспешно вышел и по внутренней галерее прошел к себе в номер. Потом широко распахнул дверь.

Улыбающийся Пушкин ловко подкинул кверху трость, поймал ее на лету и протянул толстым концом Катенину.

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Ученого учить — портить, — весело, в тон Пушкину, ответил хозяин.

Он ласково взял поэта под руку и повел в комнаты. Усадил на тахту. Дважды хлопнул в ладоши.

Тотчас вбежал слуга с подносом и двумя высокими хрустальными бокалами.

Катенин предложил выпить за содружество российских поэтов. Кубки звонко содвинулись. Но и в этот раз не удалось поэтам побеседовать вволю. День был воскресный, к полковнику начали являться гости. Хозяин упросил Пушкина остаться до обеда, потом до ужина. Прощаясь с Александром Сергеевичем, Катенин спросил, где тот живет. Поэт отвечал как-то уклончиво. Это удивило Катенина: он не знал, что 18-летний Пушкин жил тогда стесненно и старался не приглашать к себе новых знакомых.

Пушкин стал часто и запросто заходить к Катенину, чему Павел Александрович был весьма рад. В одно из первых же посещений Пушкин спросил: нравятся ли Катенину его, Пушкина, стихи и какие.

— Легкое дарование приметно во всех, — отвечал Катенин, — но хорошим почитаю одно и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?!»

Ценитель Катенин был чересчур строгий. Пушкин с интересом разглядывал его: так резко и откровенно никто еще не высказывал ему в глаза мнения о его стихах.

Внешне они походили друг на друга: смуглые, порывистые, невысокие. Смуглость Катенину передалась от матери-гречанки. Пушкину — от прадеда-арапа. Пушкину понравилась манера Катенина держать себя резко и непринужденно. Незаметно для себя он стал ему подражать.

Однажды Катенин увлеченно рассказывал про свои «милые шалости» в полку. Пушкин только усмехался.

Но вдруг Катенин замолчал.

— Что с вами, Павел Александрович?

— Да ничего, милый Пушкин... Впрочем, от вас не потаюсь. Любил и я чисто и пламенно...

— Ну, ну и что же?..

— Что же? А вот... Это почти как у Жуковского. Впрочем, на сей раз мое:

Певец Услад любил Всемилу
И счастлив был.
И вдруг завистный рок в могилу
Ее сокрыл.

Было это перед самой компанией 1812 года... Впрочем, вот вам и печальное продолжение, и конец этой истории:

Певец Услад душе покою
Искал в войне.
А враг грозил тогда войною
Родной стране.

Певец Услад в землях далеких
И чуждых жил,
Красавиц видел чернооких,
И не любил.

Певец Услад и Русь святую
Увидел вновь;
Но тужит, помня дорогую
И с ней любовь, —

грустно закончил Катенин.

Читал он свои стихи прекрасно: без ложного драматического пафоса, но задушевно. Пушкин помнил это стихотворение, незадолго до того напечатанное в журнале «Вестник Европы». Нравилось ему и другое стихотворение Катенина — «Убийца». При воспоминании о нем он все же не мог не улыбнуться: с «Убийцей» случился казус.

На читающую публику стихотворение это произвело сильное и странное впечатление. В то время любовью читателей пользовалась меланхолическая и сладостная муза Жуковского, в начале принятая холодно, но постепенно завоевывавшая сердца многих. И вдруг появляются стихи «грубые», написанные энергичным и ясным слогом.

В стихотворении рассказывался известный на Костромщине случай ограбления и зверского убийства деревенским старостой престарелого владельца постоянного двора. Сияющий в небе месяц все время напоминает убийце страшную ночь — месяц светил и тогда, он — безмолвный свидетель преступления.

Наконец, не выдержав сиянья месяца и мук совести, убийца во всем сознается жене и с ненавистью обращается к месяцу:

Да полно, что! Гляди, плешивый!
Не побоюсь тебя;
Ты, видно, сроду молчаливый!
Так знай же про себя.

После этого муж улегся и заснул. Но жена, не в силах хранить тайну преступления, донесла на мужа. Тот при первом же допросе сбился в речах и от страха «издох».

На автора стихотворения тотчас же обрушилась благовоспитанная журнальная критика, покоробленная простонародным словечком «издох». Своей мишенью она, кроме того, избрала выражение «плешивый месяц»...

Особенно ожесточенная полемика завязалась вокруг стихотворения Катенина «Ольга». Как и опубликованная за восемь лет до этого «Людмила» Жуковского, «Ольга» явилась вольным переложением баллады «Ленора» немецкого поэта Бюргера. В основе бюргеровской баллады лежала народная немецкая песня о том, как погибший воин явился за своей невестой. Живописались в ней скелеты и саваны, разверстые могилы, воющие мертвецы и т. п. Эта жуть привлекала некоторых читателей, подобно тому как иных невольно влечет отталкивающая сцена казни, убийства или катастрофы.

«Людмила» принесла славу Жуковскому. Говорили, будто он «писал эту балладу по ночам для большего настроения себя к этим ужасам».

Если Жуковского привлекали в балладе ужасы, то Катенину нравилась в ней энергичная красота народного языка.

Но «изящная», эстетствующая критика вновь напала на Катенина. Гнедич находил, что стихи в «Ольге» оскорбляют слух, вкус и рассудок.

Что вы воеете не к месту?..
Песнь нескладна и дика, —

ядовито цитировал он самого Катенина.

Выступление Гнедича задело за живое Грибоедова, «Непримиримым врагом простоты» назвал он Гнедича, а у Катенина нашел «прекрасные строфы» и «краткость, через которую описание делается живее». «Бог с ними, с мечтаниями, — писал Грибоедов, явно намекая на Жуковского. — Ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, — везде мечтания, а натуры ни на волос».

Шел 1818 год. Пушкин писал первую свою поэму «Руслан и Людмила». Он читал ее Катенину, прислушивался к его строгим, придирчивым суждениям.

Однажды по просьбе Пушкина Катенин повез его к Александру Александровичу Шаховскому, известному драматургу и театральному деятелю. С Шаховским Катенин дружил давно. Павел Александрович был связан с литературным обществом «Беседа любителей русского слова», а Шаховской вместе с Шишковым стояли во главе этой «Беседы». Проповедовала она введение в современный литературный язык старославянской речи, якобы исконно русской. С «Беседой» вела литературную борьбу группа «Арзамас», писатели сентиментально-романтического направления Карамзина — Жуковского, выступавшие за обновление языка.

К Шаховскому поехали после спектакля, зимним вечером.

Александр Александрович жил на верхнем этаже пятиэтажного дома, и квартиру его в шутку называли «чердаком». Гостей встретил сам хозяин — высокий, с огромным животом старик, с на редкость некрасивым, но добродушным лицом. Узнав, что с Катениным Пушкин, он по-молодому засуетился. Даже поразительная тучность, казалось, ему не мешала. Взяв новых гостей под руки, он повел их в комнаты, где было, как всегда, немало народу, посадил в покойные кресла.

Шаховской уже знал отрывки из «Руслана и Людмилы». Влюбленный во все старорусское, он пришел в восторг от сказочно-ярких описаний древнего Киева и сам давно просил Катенина познакомить его с Пушкиным.

...Хозяин уморительно рассказывал, как обучает молодежь актерскому искусству. Он показывал, как становился перед актером на колени, кланялся ему в ноги и плаксивым тоном, шепелявя, умолял играть лучше, натуральней. Пушкин и все гости покатывались со смеху.

Впоследствии Пушкин даже писал Катенину, что этот вечер был лучшим в его жизни.

...В сентябре 1820 года 28-летний полковник Катенин «по высочайшему повелению» был уволен в отставку.

По Петербургу носились слухи о принадлежности его к какому-то кружку заговорщиков.

Вот что писал об этом злобный реакционер Вигель:

«Раз случилось мне быть в одном холостом, довольно веселом обществе, где было много и офицеров. Рассуждая между собою в особом кругу, вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни «Пойдем спасать империю», богомерзкие слова ее, переведенные надменным и жалким поэтом, полковником Катениным, по какому-то неудовольствию недавно оставившим службу. Я их не затверживал, не записывал, но они меня так поразили, что остались у меня в памяти, и я передаю их здесь, хотя не ручаюсь за верность:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.

Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах! Лучше смерть, чем жить рабами,
Вот клятва каждого из нас!»

Правильно оценив революционную силу песни, Вигель ошибся, назвав ее переводом, это было оригинальное сочинение Катенина.

Через много-много лет, уже в наши дни, когда стали доступны тайные документы прошлого, в том числе следственные дела декабристов, мы смогли прочесть в показаниях И. Д. Якушкина следующее:

«В 1817 году, по прибытии в Москву гвардии, на совещаниях при учреждении приготовительного общества под названием Военного, сколько припомнить могу, бы-

вали, кроме названных уже мной лиц, двое Перовских, бывший Преображенского полка капитан Катенин и князь Федор Шаховской».

А вот что показывал на следствии Пестель:

«Когда в конце 1817 г. приехал я в Петербург, большая часть членов наших находилась в Москве с гвардией. Там преобразовали общество Сынов Отечества в Военное общество и разделили членов на два отделения. В одном был первенствующим членом Никита Муравьев, а в другом — Катенин».

И Якушкин и Пестель говорили о пребывании в 1817 году петербургских полков в Москве. Как раз об этом отъезде в Москву и упомянул в разговоре с Пушкиным Катенин при первой встрече с ним в театре. Гвардейцы участвовали тогда в торжественном параде по случаю закладки в Москве храма Христа-спасителя.

Еще в конце 1817 года будущие декабристы обсуждали участь императора. В 10-й, неопубликованной при жизни поэта и зашифрованной им главе «Евгения Онегина» Пушкин писал:

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Заколоть Александра I Якушкин хотел во время богослужения в Успенском соборе Московского Кремля. Установлено, что и Катенин был на этом богослужении.

А в марте 1818 года в журнале «Сын отечества» появился переведенный Катениным с французского отрывок из «Цинны» Корнеля.

Искать ли случая? Но завтра он готов:
Он в Капитолии чтит жертвами богов,
И сам падет, от нас на жертву принесенный
Пред вечным судьей спасения вселенной.

«Хитрый муж», «отцеубийца» — характеристика императора Августа — у искушенных читателей невольно ассоциировалась с Александром I, убийцей своего отца, Павла I.

В катенинском переводе (тоже с французского) трагедии Расина «Эсфирь» читатели находили не менее «прозрачные» строки:

Пучины бурные разгневанных морей
Не так опасны нам, как лживый двор царей.

Образ жизни Катенина в отставке изменился мало. Он постоянно живет в Петербурге. Правда, теперь у него гораздо меньше денег — их весьма нерегулярно присылает управляющий его костромской вотчины Шаёво. И гораздо больше досуга.

Мельпомена, эта капризная муза трагедии и театра, вряд ли когда-нибудь имела столь пламенного и, что бывает редко, неизменного поклонника.

Количество переведенных, а в сущности, заново переведенных самим Катениным драматических произведений огромно. Только на протяжении 1816—1820 годов он перевел «Эсфирь» Расина, отрывок из его же «Гофоллии», четвертое действие «Горацийев» Корнеля и отрывок из его же «Цинны», переделал одну из комедий Грессе, перевел пьесу Седена и либретто итальянской оперы «Гризельда» (четвертого действия трагедии Лонженьера), написал несколько оригинальных пьес, в их числе комедию «Студент» (совместно с Грибоедовым), драматический пролог «Пир Иоанна Безземельного» (к пьесе Шаховского), пятиактную трагедию «Андромаха».

Драматургию Катенина высоко оценивали декабрист Вильгельм Кюхельбекер и Александр Сергеевич Пушкин, говоривший о «волшебном крае» — отечественном театре:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый.

И все же недаром древние римляне считали дары Мельпомены столь же сладостными, сколь и опасными. В одном из спектаклей участвовали знаменитые Семенова и Каратыгин. По окончании представления Семёнова, как обычно, раскланивалась перед публикой. На этот раз она вышла не одна, а вела свою любимицу, очень слабую артистку Азаревичеву. Из партера раздался крик:

— Не надо нам их, дайте Каратыгина!

Кричал, конечно, Катенин. Оскорбленная Семенова тотчас пожаловалась своему высокопоставленному покровителю, князю Гагарину. Генерал-губернатор граф Милорадович вызвал Катенина и запретил ему посещать театр. Когда же он донес о случившемся царю, тот повелел выслать Катенина из Петербурга, запретив ему въезд в обе столицы. Ибо, как собственноручно на рапорте Милорадовича начертал монарх, Катенин «и напредь сего замечен был неоднократно с невыгодной стороны и потому удален из л.-гв. Преображенского полка».

Темной, глухой осенью, под непрерывными дождями, ехал изгнанник в Шаёво. Тяжек, горек был для него этот путь. Мучила разлука с друзьями.

Нестерпимо долгой казалась первая зима. К стоящей на отшибе усадьбе по ночам подходили волки, в бесконечные бессонные ночи поэт-изгнанник слушал их тоскливый вой.

Натура Катенина требовала деятельности, он стремился быть в гуще литературных и театральных споров. А его окружала лесная глушь и тишина.

В такие минуты слагалось стихотворение «Мир поэту», где есть светлые элегические строки, выражающие его душевное состояние:

И на крылах воображенья,
Как ластица, скиталица полей,
Летит душа, собирая наслажденья
С обильных жатв давно минувших дней...

Один, в тиши ночного бденья,
Я здесь с душой, смущенной от скорбей!
Вокруг меня зари свет слабый льется;
Лицо горит, мрет голос, сердце бьется,
И слезы каплют из очей.

От тоски спасали книги. Полки тянулись во всю длину унылых мрачных комнат безлюдного шаёвского дома.

Пушкин, третий год томившийся в бессарабской ссылке, с тревогой узнал об участии Катенина и с нетерпением ждал от Вяземского ответа на свой вопрос: «Правда ли, что говорят о Катенине?»

Павел Александрович переписывался с Грибоедовым. Но «Горе от ума» по достоинству оценить не сумел. Он писал автору, что в его комедии дарования более, нежели искусства (хотя того и другого там бездна), что сцены связаны произвольно (тогда как они представляют органическое развитие одного целого). Впрочем, он находил в пьесе «ума палату».

Грибоедов не обиделся. В ответном письме он, наоборот, как и Пушкин, подчеркивал значение для него замечаний и советов Катенина.

«Критика твоя, хотя жестокая и вовсе несправедливая, принесла мне истинное удовольствие тоном чистосердечия, которого я напрасно буду требовать от других людей... Вообще я ни перед кем не таился и сколько раз повторяю... что тебе обязан зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно есть во мне».

Грибоедов нашел в Катенине и определил одну из самых ценных черт его довольно трудного, крайне не-

уживчивого характера: чистосердечие, то есть искренность. Катенин никогда никому не говорил ничего, кроме правды — как он ее понимал и чувствовал. Вот почему его отзывы бывали порой односторонни и слишком резки — качество, из-за которого люди обыкновенно теряют приятелей, зато на всю жизнь приобретают двух-трех друзей, стоящих многих.

Такими друзьями Катенина были Пушкин и Грибоедов. Только они смогли оценить это нечасто встречающееся свойство — беспощадные, предельно откровенные высказывания.

Вот почему Пушкину, наверно, было особенно лестно получить от Катенина похвалу «Евгению Онегину»:

«Какая простота в основе и ходе! Как из немногих материалов составлено прекрасное целое!.. Сколько ума без умничанья, сколько чувств без сентиментальности, сколько иногда глубины без педантизма, сколько поэзии везде, где она могла быть! Какое верное знание русского современного дворянского быта, от столичных палат до уездных усадеб».

Катенин немало заботился о своих крестьянах. Но, будучи человеком необеспеченным, вряд ли много преуспел в этом. Трогательная забота о нуждах крепостных, тревога об их положении сквозят во многих его письмах.

«Крестьяне здешние с голоду мрут, — писал он артистке Колосовой. — Кормлю их чем и как могу, но мне не на что купить овса для посевов, и доходов никаких нет».

Приятеля своего, Бахтина, извещает:

«Весь уезд умрет с голоду, овес так приели, что нечем будет яровую сеять, а местами мужики кормятся дурандой. Я после этого гол, как сокол, и в долгу, как в шелку».

Еще в октябре 1824 года мимо Шаёва через Кологрив проезжал путешествующий по своей империи Александр I. Все местное дворянство, выставив вперед именитых богатеев с хлебом-солью, выходило навстречу царю. Не явился лишь Катенин.

Но все же по совету друзей он вскоре подал прошение «на высочайшее имя» о разрешении поселиться в Петербурге. Попал он туда лишь в августе 1825 года.

Катенин не был на Сенатской площади 14 декабря. После разгрома восстания его не осудили, несмотря на то, что мстительный Николай I доискивался «до корней» и беспощадно карал всех причастных к «бунту».

И хотя фамилия Катенина стояла в списке декабристов, составленном следственной комиссией и тщательно изученном царем, его «высочайше повелено оставить без внимания»...

Возможно, Катенина не тронули потому, что в последние годы перед восстанием он, по существу, выбыл из рядов декабристов. Но ведь многих осудили даже за косвенное участие к «возмущению», как именовали тогда восстание на Сенатской площади. Катенина «не тронули», хотя и вызывали в следственную комиссию... Советский исследователь Ю. Оксман, изучавший биографию и творчество писателя, полагает, что его, возможно, спас бывший сослуживец граф Адлерберг, назначенный секретарем следственной комиссии.

Как чувствовал себя Катенин, свидетель массовых арестов, следствия и, наконец, суда над декабристами?

3 февраля 1826 года он писал Пушкину:

«Извини, любезный Александр Сергеевич, что я так давно тебе не отвечал: в нынешнее время грустна даже беседа с приятелем».

6 июня того же года:

«Мне почти совестно говорить о пустяках, когда важнейшее дело судится, но что о нем говорить? Надо молчать и ждать».

И Катенин молчал и ждал. Ждал, что и к нему на рассвете явятся «голубые мундиры». Ждал без страха и, возможно, даже разочаровался, когда убедился, что роковая чаша его миновала. Он, несомненно, готов был разделить со своими бывшими товарищами их тяжелую участь.

Но, будучи натурой деятельной, он вновь ищет какого-либо живого дела. Таким делом ему кажутся хлопоты о представлении на сцене его трагедии «Андромаха», которая в 1827 году и была показана.

Однако трагедия была написана тяжелым языком пьес XVIII века и успеха не имела. В эпоху Пушкина и декабристов, когда общество волновали жгучие общественные интересы, подобная пьеса на далекий ум и сердцу зрителей античный сюжет была обречена на провал.

Она сильно повредила репутации Катенина, и с той поры его стали считать «архаистом», литературным старовером. Но и в этой, казалось бы, наиболее аполитичной вещи Катенина содержалось много интересного и значительного, что увидел только один высоко оценивший ее Пушкин.

Разочарованный во всем, не имеющий средств для жизни в Петербурге, Катенин на этот раз сам, добровольно возвращается в деревню.

Только сейчас, вынужденный серьезно заняться сельским хозяйством, познает он «всю правду земли». Горькая ирония слышится в его письме к Бахтину:

«Сельская тишина, мир полей — пустые, бессмысленные слова столичных богатых жителей, не имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ставить рекрут и как-нибудь жить».

Он пишет, что чем дольше живет в деревне, тем сильнее убеждается, что именно здесь-то тяжелым трудом и добываются плоды, красующиеся на ветвях. Под явным влиянием басни Крылова «Листы и корни» Ка-

тенин говорит, что не грех бы позаботиться о питающих дерево корнях — крестьянах.

К 1830 году, как отклик на беспощадно подавленное польское восстание, пишет Катенин в шаёвской глуши стихотворение «Гений и поэт».

Взор, присущим утомленный,
Слух, усталый от сует,
Обрати на обновленный,
Возрождающийся свет.
Зри, как целые народы,
Пробужденные от сна,
Вкруг отчизны и свободы
Водружают знамена.

Катенин хотел как можно скорей напечатать это стихотворение и послал его в альманах «Северные цветы». Бахтину он в связи с этим писал: «Я становлюсь смел в своей глуши, и коли прочтете, увидите почему».

О напечатании стихотворения, конечно, не могло быть и речи. Его впервые опубликовали в советские годы.

В 1832 году Катенин снова приехал в Петербург.

Необыкновенно участливо откликнулся Пушкин на просьбу Катенина помочь в издании, взялся распространить на книгу сто подписных листов и всюду горячо пропагандировал ее. Книга вышла. И хотя автор ее материально ничего не выиграл — весь доход от продажи пошел на покрытие типографских расходов, — поэт все же воспрял духом.

...Идут годы. Полковник Катенин служит на Кавказе, отважно сражается с горцами.

Вечером, когда снежные горы тают в туманной дымке, когда вокруг нет ничего, кроме синего воздуха, и умолкают все звуки суетливого дня, перед Катениным возникают тени близких сердцу людей, убогие и родные костромские деревушки, шумные петербургские театры.

Как все-таки странно сложилась его судьба! Рожденный с душой трибуна, он мечтал быть полезным России, а вместо того служит комендантом захудалой крепости. Любой другой мог быть здесь вместо него, с той же пользой. Но ведь зачем-то рожден и он! Не может быть, чтобы втуне пропали и накопленные годами знания, и закаленный в литературных битвах талант!

Из-под пера Катенина появляется сказка «Княжна Милуша» и быль «Инвалид Горев» — длинные, как и все его стихотворения.

Любопытен и своеобразен так непохожий на все известные стихи о Кавказе сонет «Кавказские горы». Он выражает душевное состояние и настроение Катенина в годы кавказской службы:

Громада тяжкая высоких гор, покрытых
Мхом, лесом, снегом, льдом и дикой наготой;
Уродливая складь бесплодных камней, смытых
Водою мутною, с вершин их пролитой;

Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых,
Необитаемых, ужасных пустотой,
Где слышен изредка лишь крик орлов несытых,
Клюющих падеру оравую густой;

Цепь пресловутая всепетого Кавказа,
Непроходимая, безлюдная страна,
Притон разбойников, поэзии зараза!

Без пользы, без красоты, с каких ты пор славна?
Творенье божье ты иль чертова проказа?
Скажи, проклятая, зачем ты создана?

Это стихотворение он отправил Пушкину. Пушкин ответил, что по цензурным соображениям напечатать его невозможно, и подчеркнул предпоследнюю строку. Цензура, по его убеждению, никогда бы не пропустила стихов, ставящих под сомнение божественное происхождение чего бы то ни было.

Уделом Катенина стало одиночество. Среди тупого, пьяного офицерства, у которого нет с тобой ничего общего, душу не отведешь. А друзья настоящие, друзья сердца далеко.

Одного из них уже вовсе нет на свете. Зверски убили в Персии Грибоедова. Шах персидский за это убийство преподнес русскому царю баснословной цены алмаз, и Николай I с улыбкой принял этот кровавый дар.

В письме к Бахтину Катенин по-прежнему бесстрашно и откровенно пишет о «неограниченном самовластии высоких». Он возмущается тупым начальством, попирающим на каждом шагу самолюбие подчиненных:

«Почтения к истине, к правоте и невинности, к страданию... совести и человеколюбия — в помине нет».

Он вспоминает долговязую, нескладную фигуру застенчивого Кюхельбекера.

Где ты сейчас, милый Кюхля? Звенишь ли кандалами в Сибири, поднимаешь ли лопатой тяжелую землю, томишься ли в сырых казематах?

Помнишь ли, как в февральском номере журнала «Невский зритель» за 1820 год писал ты о моей песне «Мстислав Мстиславович»:

«Господин Катенин имеет истинный талант... Стихи не Жуковского, не Батюшкова, но стихи, которые бы принесли честь и тому и другому... Прекрасное место:

И три раза, вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал.

Оно сильно, живописно, ужасно! Самый размер заслуживает внимания по удивительному искусству, с которым он приноровлен к мыслям... Публика и поэты должны быть благодарны г-ну Катенину за единственную, хотя еще и несовершенную в своем роде попытку сблизить наше нерусское стихотворство с богатою по-

эзиею русских народных песен, сказок и преданий — с поэзиею русских нравов и обычаев».

И никогда не узнал Павел Александрович, что Вильгельм Кюхельбекер в страшные дни одиночного заключения перечитал его стихотворение «Мир поэта». В своем дневнике из Свеаборгской крепости он назвал это произведение «одним из самых лучших лирических творений, какие только есть на русском языке». А по поводу другого катенинского стихотворения, «Софокл», созданного в 1818 году, заметил, что «надобно иметь не мелкую душу», чтобы написать такие строки:

Когда же мстить врагам обиду
Душой великие могли?

Теперь, в 1835 году, Катенин, полковник Эриванского карабинерного полка, обладает более суровым жизненным опытом, многое передумал и перечувствовал. Но, не изменив своим декабристским убеждениям, он сочиняет стихотворения, близкие по духу своему «дерзностному» гимну декабристов. Он пишет «Сонет», своего рода исповедь.

Кто принял в грудь свою язвительные стрелы
Неблагодарности, измены, клеветы,
Но не утратил сам врожденной чистоты
И образы богов сквозь пламя вынес целы...

Заканчивается это удивительное стихотворение пламенным утверждением неизменности жизненной и идейной позиции автора:

Как лебедь восстает белее из воды,
Как чише золото выходит из горнила,
Так честная душа из опыта беды.
Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила;
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды...

Ясно, что стихотворение это, посланное Пушкину вслед за сонетом «Кавказские горы», тоже не могло быть пропущено тогдашней цензурой.

Конечно, за Катениным следили, и стихи и письма его были известны III отделению. Восстановленный было в правах полковник «не оправдал» возлагавшихся на него надежд, не оценил ни данного ему звания, ни положения.

В один «прекрасный» день 1838 года Катенин, служивший комендантом в захолустной Кизлярской крепости, получил приказ об отставке.

Самолюбивый Катенин больше никогда ни о чем не просил «властей предержащих».

Он опять поселился в Шаёве, превратился в того отставного полковника, помещика Коптина, который изображен Писемским в романе «Люди 40-х годов».

«Предобрый», — говорили о нем в округе. Он и вправду готов был отдать несчастным все, что имел, да только имел он мало.

— Скажите, папаша, ведь он сослан был?

— Как же, при покойном еще государе Александре Павловиче, в деревню свою, чтобы безвыездно жил.

— За что же?

Полковник усмехнулся.

— Песню он, говорят, какую-то сочинил с припевом этаким...

— Какая же это песня, папаша?

— Не знаю, — отвечал полковник. Он знал, впрочем, эту песню, но не передал ее сыну, не желая заражать его вольнодумством».

По-прежнему вокруг были недороды, нищета и дикость. А между тем быть рачительным хозяином, извлекать из имения пользу Катенин не мог.

После смерти Пушкина о нем почти никто не вспо-

минал в среде петербургских литераторов. Катенин не писал, ибо знал, что печатать его никто не будет.

А силы требовали выхода. Врожденная гордость превращалась в манию величия. Он и раньше-то считал себя чуть ли не равным Пушкину, а теперь в своих «Воспоминаниях», за которые наконец принялся, вовсе называл себя наставником поэта.

Временами он трагически ощущал неестественность этой позы. В такие минуты совершал он бессмысленные выходки или безудержно предавался пьянству, с гиканьем и свистом скакал по обширным и чахлым полям Костромской губернии. Не желанием ли уйти из жизни объясняется эта бешеная, все чаще повторяющаяся скачка, во время которой однажды он и погиб.

Случилось это в погожий николин день 9 мая 1853 года.

— Подшутил над нами Никола... — превозмогая боль, усмехнулся Катенин.

Умирал он как воин и отказался от причастия.

Как-то, после отставки 1838 года, в часы проклятого досуга, которого у него был переизбыток, сочинил он себе заранее эпитафию:

«Павел, сын Александров, из рода Катениных. Честно отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила; зла не творил никому и менее добра, чем хотелось».

Надпись эту в конце прошлого столетия еще можно было разобрать на одном из камней кладбища села Бореева. В 1955 году прах Катенина перенесли в Чухлому, где и воздвигли новый памятник.

ОТКУДА ПРИШЕЛ ВИЙ?

2 ноября 1831 года Гоголь писал своему другу А. Данилевскому: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если б ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка», в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные — не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами — и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт... А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут».

Одно из произведений В. А. Жуковского имело весьма длинное название: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Это был перевод баллады английского поэта Роберта Саути. Впервые Жуковский ее перевел еще в 1814 году, но тогда московская и петербургская цензура стихотворение печатать запретила. Через несколько лет Жуковский попытался снова его напечатать под заглавием «Ведьма». Цензор перечеркнул стихи красными чернилами и написал: «Баллада «Старушка», ныне явившаяся «Ведьмой», подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над богом». И вот только теперь, в 1831 году, «Старушка» выходила в свет. Жуковский основательно ее переделал и, в частности, поместил дьявола, ожидающего свою жертву, за дверями храма.

В начале 1835 года вышла новая книга Гоголя «Миргород», и в ней среди других повестей был «Вий». Иные

читатели подметили некоторое сходство между «Старушкой» и «Вием»: в обоих произведениях — смерть ведьмы, отпевание, появление нечистой силы. И вместе с тем какая разница! В балладе Жуковского — лишь «ужасная» средневековая легенда, в повести Гоголя — колоритная жизнь киевских бурсаков, а фантастические эпизоды вплетены столь искусно, что на какие-то мгновения даже начинаешь верить в них.

Но вот что интересно: Жуковский при всех своих связях столько лет бился с цензурой, не желавшей видеть дьявола в церкви, да так и не смог одолеть ее и вынужден был переделывать балладу. А Гоголь своим магическим мастерством даже свирепую цензуру завожил! Ведь его вий вошел-таки в церковь и погубил в ней православную душу!

Какое же народное предание легло в основу «Вия», какое место «в пятидесяти верстах от Киева» описано как место гибели Хомы Брута, какой храм изображен? Уж очень ярко, до осязаемости конкретно описаны Гоголем все эти места и несколько раз даже упоминается какая-то «чухрайловская дорога», по которой ехал Хома Брут отпевать дочь богатого сотника.

...Начал с розысков украинских легенд о вие. Существа, похожего на вия, я нигде не нашел.

Где же Гоголю посчастливилось найти давно исчезнувшего вия? Может быть, это предание содержалось в одном из несохранившихся писем его матери, Марии Ивановны, которая аккуратно отвечала на каждую его просьбу присылать всевозможные легенды и поверья? А мемуары современников, не скажут ли они что-нибудь о вие? В книге «Н. В. Гоголь» (1953 г.) покойный критик В. Ермилов воспроизвел отрывок (в переводе с французского) дневника А. О. Смирновой-Россет, который, казалось бы, давно должен быть известен исследователям, но почему-то не привлек их внимания:

«Хохол» (Гоголь. — В. О.) упрям; он не хотел притти ко мне с Плетневым; он робок, а мне хотелось поговорить с ним о Малороссии. Наконец Сверчок (Пушкин. — В. О.) и Бык (Жуковский. — В. О.) привели его ко мне... Я уверена, что северное небо давит его, как шапка, потому что оно часто бывает угрюмо. Я ему рассказала о Гопке (няня Смирновой-Россет. — В. О.), которая меня напугала вием. Пушкин сказал, что это вампир греков и южных славян, каких у нас нет в северных сказаниях...»

Важное свидетельство! Вот откуда услышал Гоголь про вия и в своей творческой фантазии соединил его с историей киевского бурсака.

Куда же, в какую сторону бредут тихим летним вечером трое бурсаков из повести «Вий»? Вот и дороги уже не видно, все покрылось туманом... И куда на третий день после столь странного приключения отправился по приказанию пана ректора Хома Брут? Он едет и думает лишь о том, как бы улизнуть. И удрал бы непременно, да после горилки ноги одеревенели. И вот его привозят в неведомое ему большое село. Какое?

Снова обращаюсь к книгам, статьям и к переписке со своими украинскими корреспондентами, дотошными краоведами, влюбленными в творчество Гоголя. В украинской литературе уже не раз упоминалось большое, стоящее на берегу Днепра поселение Прохоровка как место, описанное в «Вие». Была здесь и старинная церковь, сооруженная, по преданию, запорожскими казаками из быстролетных лодок-чаек. Есть тут и сосна, под которой якобы любил отдыхать Николай Васильевич, когда бывал в гостях у своего друга этнографа Михаила Александровича Максимовича, владевшего усадьбой Михайлова Гора. Но не был Гоголь в Прохоровке до выхода из печати «Вия», не видел этой церкви, да и в Киев-то в первый и единственный раз в жизни попал летом

1835 года (а «Миргород», напомним, вышел в начале года)!

В самом деле, с М. А. Максимовичем Гоголь познакомился в Москве летом 1832 года во время первой своей поездки на родину из Петербурга, в котором жил с 1829 года. Обычная и самая прямая дорога в его родную Васильевку пролегалa на юг, то есть через Москву, Подольск, Серпухов, Тулу, Курск, Харьков и далее на запад, на Полтаву. Если бы он ехал в Киев, то после Подольска должен был бы свернуть на юго-запад, на Калугу. В письме М. Погодину от 20 июня 1832 года он упоминает, что ехал через Полтаву. Обратная дорога была та же, о чем свидетельствует его письмо из Курска от 9 октября 1832 года. Весь 1833, как и 1834 год, он прожил в Петербурге и окрестностях и лишь весной 1835 года, после окончания экзаменов в Петербургском университете, выехал домой по известной нам дороге. И только 11 июля 1835 года писал И. Срезневскому из Васильевки, что едет в Киев. В конце этого месяца он и посетил Максимовича в Киеве, о чем тот писал в книге «Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде» (Спб., 1871):

«Уцелел еще от сломки на Никольской улице тот... Катериничев домик, в который переместился я к весне 1835 года... (Он) стоит ныне на тычку, первый с правой руки, при въезде в новозданную Печерскую крепость, возле Лаврского дома. Там... был Гоголь, нарочно приехавший ко мне в конце июля, возвращаясь из своей полтавской Васильевки или Яновщины в Петербург. Он пробыл у меня пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву... Вместе с Гоголем мне удалось... побывать у Андрея Первозванного. Там я оставил его на северо-западном угле балкона, а когда вернулся, я нашел его возле

жащим на том же самом месте... Гоголю особенно полюбился вид на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, стояла неподвижно малороссийская молодлица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глаза на Днепр и Заднепровье. «Чего ты глядишь там, голубко?» — мы спросили. «Бо гарно дивиться», — отвечала она, не переменяя своего положения, и Гоголь был очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке».

Итак, Максимович ни слова не говорит о Прохоровке, о Михайловой Горе, посещение которой теперь, коль скоро «Вий» уже был издан, отношения к этой повести не имело.

Долго я не мог узнать, где пролегалa упоминавшаяся в повести «чухрайловская дорога». Наконец получил от киевлянина К. Д. Шумского вот какое письмо: «Чухрайловской дороги нет и не было, это не название. У нас говорят: «От, бисовы дети, геть обчухрали яблоню!», это означает: «Вот, чертовы дети, ведь отрясли яблоню!» Полузабытое слово «чухрай» значит «озорник», «архаровец», а иногда и «вор», «грабитель». Гоголь вкладывает в название дороги иронический смысл: скверная дорога, пользующаяся плохой репутацией. И отстоит Прохоровка от Киева не на 50, а на 130 верст».

Конечно, не исключено, что выразительные рассказы Максимовича о старой таинственной церкви, о красивейшем расположении Михайловой Горы запомнились Гоголю и он воспользовался ими в «Вие». Во втором томе «Мертвых душ» он, например, явно использовал рассказы Н. М. Языкова о его симбирском поместье: достаточно побывать в Языкове, чтобы убедиться, сколь точно при изображении усадьбы Тентетникова описаны тамошние живописные меловые горы и вообще вся захватывающая дух панорама. Но увы! Вопреки мнению уль-

яновских краеведов, в частности, авторов сборника «Литературные места Ульяновской области», Гоголь не был в Симбирской губернии, хотя и собирался туда в 1850 году.

Точно так же и пейзаж «Вия» был навеян не какой-то определенной местностью и не какой-то одной церковью, списанной, по мнению некоторых, с натуры, а единственно силой художественного впечатления. Случайно услышанная легенда, читанное и слышанное о киевских бурсаках, мотивы чарующей украинской природы, старинного зодчества — все слилось и переплавилось в неповторимое создание волшебного гоголевского пера.

ТРАГИЧЕСКАЯ НОЧЬ

21 февраля 1852 года в Москве умер Николай Васильевич Гоголь. Скорбная весть быстро облетела огромный город. Москвичи шли к дому на Никитском бульваре, где в квартире графа Александра Петровича Толстого жил последнее время знаменитый писатель.

Проститься с Гоголем приходили не только литераторы, не только друзья и знакомые писателя, но и простые люди, знавшие его по книгам. Чрезвычайно любопытно свидетельство крепостного лакея Ф. Д. Бобкова, опубликованное через много лет, в 1907 году, в журнале «Исторический вестник»:

«На Никитском бульваре, в доме графа Толстого, где жил Гоголь, весь двор был полон карет... Гоголь был настолько беден, что даже фрака порядочного не имел. Я видел Гоголя несколько раз, когда он приходил к Хомякову. Я хорошо помню его острый нос и сгорбленную фигуру с опущенной вниз головой. Вечером стал читать «Мертвые души».

24 февраля Москва хоронила Гоголя. Московская полиция предвидела небывалое стечение народа. И приняла меры, чтобы не было возможных «беспорядков», а точнее сказать, волнений и возмущений. Московский генерал-губернатор Закревский сам взял на себя охранительные функции. Вскоре он доносил шефу жандармов графу Орлову:

«Приказано было от меня находиться полиции и некоторым моим чиновникам, как при переносе тела Гоголя в церковь, так равно и до самого погребения. А чтобы не было никакого ропота, то я велел пускать всех без исключения в университетскую церковь. В день погребения народу было всех сословий и обоего пола очень много, а чтобы в это время все было тихо, я приехал сам в церковь».

Несмотря на все эти предостережения, несмотря на то, что в толпах шныряли сыщики, а Закревский появился в голубой ленте ордена Андрея Первозванного (опять-таки «для острастки!»), «ропот» все же возникал. Люди с недоумением спрашивали друг друга: отчего так неожиданно умер Гоголь? Закончил ли он второй том «Мертвых душ», о котором так много говорилось между литераторами, и будет ли напечатано это произведение?

Но наряду с такими разговорами слышались и другие. Из уст в уста передавали странный слух о том, что к Гоголю повадился ходить какой-то священник, который страшит его адскими муками. Шепотом говорили даже о том, что писатель якобы был отравлен. Но вот Гоголь похоронен в ограде Даниловского монастыря. А Москва, Петербург, да и вся Россия с нетерпением ждут печатных известий о последних днях его жизни, о чем ходит столько разных слухов.

Наконец некрологи стали появляться. Наиболее подробные сведения читатели узнали из статьи М. П. Погодина, давнего друга Гоголя. Когда Николай Василь-

евич, бывало, приезжал в Москву, то всегда останавливался у редактора журнала «Москвитянин», профессора русской истории Погодина, в его поместительном доме на Девичьем поле, да и, переселившись в «град первопрестольный», одно время жил у него.

Вот что писал Погодин в пятом номере «Москвитянина» за 1852 год: «Ночью на вторник он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», — отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться». И он пошел, с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку (рукописей. — В. О.)... Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!» — «Не твое дело», — отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал...

Путру он сказал гр. Т.: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти».

О каком же сожжении шла речь в некрологе? О сожжении Гоголем в ночь с 11 на 12 февраля белой рукописи второго тома «Мертвых душ», произведения, над которым писатель трудился более десяти последних лет своей жизни.

Комментируя этот факт, исследователи до недавнего времени полагали, что он доказывает резко критическое, отрицательное отношение Гоголя к своей рукописи. Однако пристальное изучение всех обстоятельств трагедии дает основание и для иных версий. В архиве М. П. Погодина хранятся два чрезвычайно важных письма. Автор первого — граф А. П. Толстой, в доме которого жил Гоголь — автор второго, ответного — М. П. Погодин. Когда Толстой прочитал некролог в корректуре, он тотчас же написал Погодину: «Думаю, что последние строки о действии и участии лукавого в сожжении бумаг можно и должно оставить. Это сказано было мне одному без свидетелей. Я мог бы об этом не говорить никому...» Из контекста следует, что слово «оставить» употреблено в смысле «изъять», «опустить».

Но Погодин сохранил все так, как было в корректуре. И после выхода журнала ответил Толстому: «Я сам долго думал, почтеннейший граф Александр Петрович, о тех строках, кои остановили на себе Ваше внимание. Но имеем ли мы право умолчать их? Они заключают черту важную, без коей историческое изображение неполно, следовательно, не верно».

Почему же граф А. П. Толстой настаивал на том, чтобы Погодин выбросил из некролога ту часть его рассказа, в которой говорилось, как Гоголь по ошибке, во все того не желая («лукавый», то есть черт, подтолкнул), сжег вместо других бумаг, отобранных для сожжения, рукопись второго тома «Мертвых душ»?

Наиболее пронизательные умы еще тогда чувствовали, что кончина Гоголя и сожжение им рукописи окружены какой-то тайной. «Эта страшная смерть, — писал Тургенев Ивану Аксакову, — историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжелая, грозная тайна — надо стараться ее разгадать...» Александр Блок через много лет гневно спрашивал: «Кто приходил сосать кровь умирающего Гоголя?»

В 58-м томе «Литературного наследства» опубликовано письмо одного из современников Гоголя. Рассказывая о событиях февраля 1852 года, он писал: «Наконец, подослали (к Гоголю. — В. О.) какого-то сельского священника...» Ни в некрологе, ни в других весьма немногочисленных печатных отголосках о смерти Гоголя имя этого священника не называлось. Но он существовал и сыграл зловещую роль в судьбе Гоголя. Имя его Матвей Константиновский, отец Матвей.

Гоголь познакомился с ним в 1847 году через того же графа А. П. Толстого, с которым сблизился несколько раньше. Для второго тома ему нужен был образ священника, и Толстой назвал ему Константиновского, которого знал, еще будучи тверским губернатором. Константиновский подвизался в городе Ржеве Тверской губернии и слыл личностью сильной, бескомпромиссной в вопросах веры. Познакомившись с ним, Гоголь стал называть его своим «духовным отцом». А «духовный сын» обязан во всем подчиняться «духовному отцу».

В конце января 1852 года отец Матвей навестил А. П. Толстого. Зашел он и к Гоголю, который к тому времени приступил к печатанию собрания своих сочинений, куда входил и долгожданный второй том «Мертвых душ». Гоголь просил его прочитать эту рукопись и высказать свое мнение.

Какое мнение высказал священник, стало известно лишь в 1902 году, через пятьдесят лет после смерти Гоголя (Константиновский умер в 1857-м), да и то лишь узкому кругу читателей «Тверских епархиальных ведомостей». В № 5 этого журнала были помещены воспоминания протоиерея Ф. И. Образцова, который случайно слышал в свое время разговор литератора Т. И. Филиппова с Константиновским.

«Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ»?» — заметил Филиппов. Вначале Матвей категорически отказался от такого обвинения.

Но потом в пылу самооправдания невольно проговорился: «Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них... даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь».

Таким образом Матвей Константиновский признал, что он приложил руку к уничтожению второго тома, который, как мы знаем, Гоголь закончил.

«О. Матфей, — пишет далее Ф. И. Образцов, — потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. «Отрекись от Пушкина, — потребовал о. Матфей. — Он был грешник и язычник». Этого мало. Приводятся и такие слова Константиновского: «Но было и еще...» Что же еще потребовал неистовый «духовный отец»? Об этом он умолчал. Но вот концовка его невольной «исповеди»: «Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства».

Так что же произошло в трагическую ночь с 11 на 12 февраля 1852 года? Теперь, зная воспоминания Ф. И. Образцова, погодинский некролог, письма А. П. Толстого и М. П. Погодина, мы более четко можем представить себе суть событий, неясность которых смущала многих биографов писателя. Видимо, Гоголь вначале согласился по указанию Матвея уничтожить рукопись (сатирическая направленность которой, обличающая самодержавный строй, священнику была очевидна), но потом изменил свое решение, ибо не сомневался в художественном значении своего произведения. Это было непросто ему, человеку верующему, да к тому же впечатлительному, на которого угрозы Константиновского (допустим, об отлучении от церкви) не могли не действовать. А когда утром 12 февраля он увидел, что по нечаянности вместо других бумаг сжег законченную рукопись второго тома «Мертвых душ», он зарыдал. Об этом пишет врач А. Т. Тарасенков. Гоголь

знал, что умирает, что у него не хватит сил все восстановить. С тех пор состояние Гоголя резко ухудшилось, и через десять дней его не стало.

Константиновский воплощал в себе самые темные силы царской реакции, ненавидевшей Гоголя за его беспощадный дар обличения. Ведь некоторые сановники чуть ли не в глаза писателю говорили, что его следует отправить в Сибирь. Сразу же после опубликования погодинского некролога Ф. Булгарин написал статью — своеобразный донос: он возмущался тем, что Гоголь назван великим человеком, а также тем, что некролог содержит весьма нежелательные подробности об ошибочном сожжении рукописи. Донос не остался без внимания властей. Как установил советский исследователь Б. Земенков, за этот некролог «благонамеренный» Погодин был отдан под надзор полиции. Широко известен и факт ареста, а затем и высылки в родовое имение И. С. Тургенева также за то, что он в своей статье называл Гоголя «великим». Перлюстрации подвергалась вся частная переписка в отношении смерти Гоголя, о чем говорит изданная в 1905 году книга «Архив III отделения. Дело о переписке по поводу смерти Н. В. Гоголя».

До недавнего времени не была выявлена роль графа А. П. Толстого во всей этой загадочной истории. Благодаря опубликованию его письма к Погодину она до некоторой степени прояснилась. Проговорившись о том, как обстояло все в действительности, а потом желая изъять соответствующее место в некрологе, Толстой изобличил себя. Он пожелал представить дело так, что умирающий в его доме Гоголь сознательно, преднамеренно, а вовсе не случайно сжег якобы вредную по мыслям и слабую по художественному исполнению рукопись второго тома «Мертвых душ». О Константинов-

ском же, своим ближайшем единомышленнике, он вовсе не упоминал, оставив его в тени.

Небезынтересно знакомство с биографией Александра Толстого. В 1840-х годах он был отставлен от дел за интриги. В выжидательной позиции пребывал в годы, когда у него жил Гоголь. После же смерти писателя необыкновенно активно выступал инициатором издания его религиозных сочинений, выставя Гоголя поборником православия. Был назначен обер-прокурором Синода. Получил высшую должность — члена Государственного совета.

Весьма двусмысленна его роль «хранителя» гоголевских рукописей. Сначала он объявил, что никаких бумаг, касающихся «Мертвых душ», от покойного не осталось. А через месяц с лишним предъявил душеприказчикам ряд бумаг Гоголя и среди них четыре с половиной главы второго тома «Мертвых душ» (черновик). Не утаил ли он остальные, недостающие черновые главы второго тома «Мертвых душ» (их было 11, как и в первом томе)? Не боялся ли, что их публикацией он будет скомпрометирован в глазах высшего света в том смысле, что вот, мол, эти сатирические главы создавались в его доме, а он не мог повлиять на автора в нужном направлении?

Говоря о втором томе «Мертвых душ», мы зачастую забываем, что окончательная рукопись уничтожена, а то, что нам известно, — далеко не последняя, то есть черновая редакция нескольких глав. А еще Н. Г. Чернышевский предупреждал, что судить по ней об окончательном виде поэмы мы не можем, хотя общее сатирическое направление ее должно было оставаться прежним в силу характера дарования Гоголя.

Что же и от кого мы знаем о неуцелевших главах второго тома? Таких свидетельств несколько, и наиболее ценны среди них воспоминания А. О. Смирновой-Россет, ее сводного брата Льва Арнольди, Д. А. Обо-

ленского и С. П. Шевырева. Всем этим лицам Гоголь, не выпускавший рукопись из своих рук, читал отдельные главы беловика.

Приятельница Пушкина, Жуковского, Гоголя, бывшая фрейлина А. О. Смирнова-Россет упоминает неизвестный нам персонаж «Вороной-Дрянной», рассказывает об обеде, который дал управляющий помещичьим имением. С. П. Шевырев называет также неведомого нам штабс-капитана Ильина.

Чрезвычайно важно свидетельство Д. А. Оболенского: «...в то время, когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Уленьки, блаженствует, будучи ее женихом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом (как единодушно полагают исследователи, его прототипом был В. Г. Белинский, также не закончивший университетского курса. — В. О.) с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, там они венчаются...»

Как видим, в окончательном варианте ситуация была совсем иной, чем она выступает из черновиков. Князя Д. А. Оболенского уж никак нельзя обвинить в том, что, пересказывая неуцелевшие главы, он был способен их социально заострить! Вместе с тем это чрезвычайно лаконичное его сообщение безусловно доказывает, что Гоголь размышлял над образом Белинского, человека, с которым не раз встречался, да к тому же написавшего ему «громовое» письмо из Зальцбрунна по поводу книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Сообщение Оболенского показывает и то, что Гоголь хорошо знал дело Петрашевского, скорбел о сосланных в Сибирь его участниках. Он вряд ли мог не знать, что

некоторым из них как раз инкриминировалось публичное чтение, то есть пропаганда письма Белинского к нему, исполненного пламенных освободительных идей.

Не менее ценны и воспоминания Льва Арнольди, который воссоздает неизвестную нам часть второй главы, посвященную обеду в генеральском доме. «Описание этого обеда, — подчеркивал мемуарист, — по моему мнению, было лучшее место второго тома». В той же главе блистательно изображалось хищничество Павла Ивановича Чичикова, мошенническую натуру которого ничто не могло изменить. Вот Чичиков ловко примирил Тентетникова с генералом Бетрищевым, а следовательно, восстановил отношения молодого помещика с дочерью генерала, Уленькой, в которую он, Тентетников, был влюблен. Тентетников наверху блаженства. «Мастерскою кистью был описан... сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомые, и наконец все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый. Я живо помню, что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно! В избытке чувств от полноты счастья Тентетников плакал и тут же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невесте. В эту минуту в конце аллеи показывается Чичиков. Тентетников бросился к нему на шею и благодарит его. «Вы мой благодетель, вам обязан я моим счастьем; чем могу возблагодарить вас?.. всей моей жизни мало для этого...» У Чичикова в голове тотчас блеснула своя мысль. «Я ничего для вас не сделал, это случай, — отвечал он, — но вы легко можете отблагодарить меня...» Тут Чичиков рассказывает о своем мнимом дяде, о том, что ему необходимо хотя на бумаге иметь триста душ. «Я вам на бумаге отдам все мои триста душ, и вы можете показать наше условие вашему дядюшке, а после, когда получите от него имение, мы уничтожим купчую».

Чичиков остолбенел от удивления! «Как, вы не боитесь сделать это? Вы не боитесь, что я могу вас обмануть... употребить во зло ваше доверие?» Но Тентетников не дал ему кончить. «Как, — воскликнул он, — сомневаться в вас, которому я обязан более чем жизнью!» Тут они обнялись, и дело было решено между ними. Чичиков заснул сладко в этот вечер».

Завершая рукопись, Гоголь сознавал всю силу своего сатирического дарования. Он великолепно представил широкую панораму жизни, на этот раз в глубоком социальном разрезе, насытив поэму драматическими сценами ссылки на каторгу ни в чем не повинных людей. Он раскрывал огромные потенциальные силы России, показывал духовную красоту простого народа (сцены хоровода, картины русских просторов и т. д.). И снова появлялся Чичиков с его плутнями, с его грандиозной аферой — подделкой завещания богатой помещицы Ханасаровой, его крахом и заключением в тюрьму и освобождением за солидную взятку. Это ли не разоблачение насквозь прогнившего правопорядка!

В Центральном государственном архиве литературы и искусств (фонд 139, опись 1, единица хранения 158, листы 131—132) хранится запись цензора А. В. Никитенко о его впечатлениях от глав второго тома «Мертвых душ»: «Главы эти весьма длинные, и, следовательно, по ним можно судить об остальном. Это решительно одно из тех капитальных творений искусства, которые переживают века. На сцене являются все новые лица, до того типические и живые, что становится страшно, как бы сделалось страшно, когда какая-нибудь античная статуя сдвинулась бы вдруг со своего пьедестала и пошла. Тут являются лица с трагической физиогномией, и между ними тот же Чичиков и множество комических и юмористических изображений мастерской, почти шекспировской отделки. В последних частях идея «Мертвых душ» переменяет свой характер, и это одна из за-

мечательнейших сторон книги. Выходит, что мертвые души не те, которых скупал Чичиков, а души тех, у которых он покупал. Тут сочинение становится колоссально величественным, грозным, не поэмой, как он его называл, а трагедией национальной. И все это пропало! Потеря действительно важная. Такое сочинение именно теперь нужно, и оно принесло бы несчетно много добра».

Да вот, наконец, и признания самого Гоголя, как бы предвидевшего кривотолки о втором томе: «Я не имел в виду собственно героя добродетелей. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры значительнее прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с одной какой-либо стороны».

Мысль исследователя не хочет мириться с бесследным исчезновением загадочной рукописи. Но где же, в самом деле, семь недостающих глав старых черновиков, если их не уничтожил Александр Толстой, и где черновики самой последней редакции, если Гоголь вместо них по ошибке сжег беловик? Можно, конечно, высказать предположение, что, готовясь оставить потомкам беловик, Гоголь уничтожил и последнюю редакцию черновиков. Но уничтожил ли?

Занимаясь ряд лет поисками и изучением материалов, касающихся второго тома, я обнаружил малоизвестную статью гоголевского биографа В. Шенрока. «В февральской книжке «Исторического вестника» напечатана часть спасенных рукописей и приложено факсимиле, — писал он. — Тем не менее считаю нелишним сказать слова два об их истории. Спасением их мы обязаны покойному М. П. Погодину, который, узнав от слу-

ги Гоголя, во время предсмертной болезни писателя, что он истребляет свои черновые бумаги, поспешил приехать к больному приятелю и незаметно для него подобрал разрозненные клочки, положил их в наволочку, а последнюю в чемодан Гоголя и увез к себе. Впоследствии он принялся за разбор этого хаоса, но применил не вполне практичный способ: он подбирал куски по смыслу, но это оказалось так трудно и сложно, что, не достигнув результата, Погодин эту работу оставил. После смерти его бумаги перешли к академику Кулику (видимо, Кунику. — В. О.), и, наконец, к П. Я. Дашкову, догадавшемуся применить более простой и целесообразный метод объединения клочков: он подбирал их просто по цвету и виду бумаги и после продолжительных и упорных усилий, говорят, достиг блистательного успеха».

Мы оптимистически смотрим на возможность обнаружения черновиков сожженной рукописи. Четыре отрывка ее, найденные учеными-гоголеведами, были опубликованы в VII томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (издание Академии наук СССР, 1951). А в 1953 году ленинградский литературовед Г. Фридендер напечатал еще один отрывок, который прежние исследователи считали относящимся к «Выбранным местам из переписки с друзьями».

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, ДРУГ ПОЛЕЖАЕВА

Александр Иванович Герцен в «Былом и думах» вспоминает, что за антицаристскую песню три московских студента были приговорены к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости.

«Через два года Уткин умер в каземате. Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ, он умер в Пяти-

горске. Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком».

...Уткин, «вольный художник, содержащийся в остроге», как он подписывался под допросами, был человек лет сорока, он никогда не участвовал ни в каком политическом деле, но, благородный и порывистый, он давал волю языку в комиссии, был резок и груб с членами. Его за это умертвили в сыром каземате, в котором вода текла со стен».

Эти герценовские строки давно уже останавливали мое внимание. Что это за «вольный художник Уткин», каковы его произведения?

В примечаниях к «Былому и думам» говорилось:

«В несколько ином варианте песня В. И. Соколовского приведена в статье М. К. Лемке «Очерк жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей» (по неизданным источникам), «Мир божий», 1906 г., № 2. Из материалов следствия по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» видно, что Соколовский не был сочинителем этой песни, а узнал ее по выходе из кадетского корпуса летом 1826 года. А. В. Уткин на следствии показал, что песню «Русский император» он узнал от А. И. Полежаева. Можно предположить, что Полежаев и был автором песни».

Больше никаких сведений об Уткине в «Былом и думам» не содержалось, если не считать, что в именном указателе стояло полное его имя: «Алексей Васильевич» и давались даты его жизни: 1796—1836. Очевидно, эти даты определялись со слов Герцена: «Уткин был человек лет сорока». Арестовали его в 1834 году, а через год-два Уткин умер. Отсюда выводилось: 1796—1836.

Я разыскал статью М. К. Лемке в журнале «Мир божий». В ней содержались еще некоторые сведения о

художнике. Некий Киндяков, арестованный по тому же делу, показал, что одна из трех песен была сочинена Уткиным:

Боже! Коль ты силен еси,
Всех царей в грязь меси,
И кинь их под престол:
Сашеньку, Машеньку,
Мишеньку, Костеньку и Николаюшку
Ж...й на кол.

«Уткин, — писал М. К. Лемке, — оказался очень упорным, и Шубинский (полковник III отделения) советовал Бенкендорфу «разрешить ему употребить некоторые угрозы с наказанием, без всякого сожаления к столу гнусному предателю».

М. К. Лемке сообщал, что все подсудимые были разделены по важности на три разряда. Самым первым в первом разряде числился Уткин, ибо, конечно, автор такой песни, в которой предавалась поруганию вся царская семья, слыл за главного преступника.

Так трагически сложилась судьба этого неизвестного художника. Но где же его произведения?

И я отправился в Третьяковку.

Как и следовало ожидать, ни в экспозиции, ни в фондах его работ не оказалось. Но в административной части этого примечательнейшего здания есть маленькая комнатка, уцелевшая, как говорят, без перестройки еще со времен Третьяковых. Там стоят бесценные каталоги. В них — биографии художников, в том числе и малоизвестных. И какое же удовольствие рыться в них! Но долго в тот день я искал хоть каких-нибудь сведений об А. В. Уткине. Был тут знаменитый гравер Николай Иванович Уткин, были и другие с той же фамилией, но нужного, увы, так и не оказалось.

В горестном раздумье я уже собирался покинуть Третьяковку, как вдруг вспомнил об Иване Алексеевиче Смирнове. Много-много лет делал он всевозможные

вырезки и выписки о художниках и аккуратно наклеивал и заносил все данные на карточку определенного размера. Особенно ценны, конечно, были его сведения о мастерах полузабытых, а то и вовсе неизвестных. Помню, как в свое время помог мне Смирнов в розысках «Картинок с выставки» художника-архитектора Виктора Гартмана, друга Мусоргского и Стасова.

— А картотека Ивана Алексеевича Смирнова у вас есть? — спрашиваю я научного сотрудника галереи.

— Есть, но, к сожалению, обработать еще не успели.

Какое счастье! Ведь если бы обработали, то в случае обнаружения данных об А. В. Уткине наверняка бы уже внесли в каталог, а там их нет! А ну как разыскал что-нибудь покойный Иван Алексеевич!

И как же я был рад, что интуиция на сей раз не подвела! У Смирнова оказалась карточка на Алексея Васильевича Уткина.

И тут меня ожидала подлинная сенсация. Оказалось, что этот Уткин, именно Алексей Васильевич, а не Николай Иванович, был автором портрета А. И. Полежаева. Указывалось даже конкретное издание, где воспроизводился этот портрет: «Литературное наследство», 1934, т. 15, с. 225. Вторая запись говорила, что Уткин в 1833 году (следовательно, за год до ареста) выпустил серию рисунков «Жизнь игрока» с французского оригинала Н. Моряна.

Я тотчас же заказал в библиотеке Третьяковки оба издания, и вот они передо мной. В «Литературном наследстве» действительно помещен великолепный, ныне общеизвестный портрет Полежаева, приложенный к прижизненному изданию книги поэта «Кальян», вышедшей в 1833 году. Впрочем, на самом портрете имя Уткина отсутствует, ясно читаются лишь слова «Литография А. Ястребилова». Надо внимательно прочитать статью В. В. Баранова. Но мне не терпится заняться «Жизнью игрока».

Большие отдельные листы. Первый и последний когда-то служили обложкой, но от ветхости разъединились. На титуле значится: «Жизнь игрока. С французского оригинала Н. Моряна рисовал на камне А. Уткин». Ниже — рисунок. За карточным столом сгрудились игроки. Один приподнялся в отчаянии, впившись глазами в карты, другой в беспамятстве падает со стула. Третий властно указывает на выигравшую карту. Другие окаменели. «Москва, в литографии В. Логинова, 1833, продается у книгопродавца В. Логинова на Никольской улице. Печатать позволено 1832 декабря 22. Цензор Снегирев».

Далее на шести листах развертывалась драматическая жизнь игрока. Первый рисунок изображал идиллическую сцену из быта молодоженов. Все дышит покоем, свежестью. Указывая на дитя в колыбели, молодая красивая женщина говорит мужу: «Друг мой! Как бы нам не разбудить его!»

Далее — сцены из истории семьи. Каждый рисунок — своеобразная новелла. Заканчивалась серия изображением самоубийства игрока.

Незадолго перед тем Пушкин написал «Пиковую даму». Карточная игра действительно становилась бичом общества, тема считалась остро злободневной. По всей вероятности, эти работы Уткина имели успех.

Недаром на обороте титульного листа оказалась трогательная надпись некоего Семена Баркова своему брату Василию Васильевичу: «Нововышедшим модным естампом с французского на русский лад» одаривал он его за какую-то услугу.

...Возвращаясь к «Литературному наследию» и вот что узнаю из статьи В. В. Баранова. Всего существовало четыре портрета Полежаева. Первый — рисованный Уткиным около 1829 года, литография которого, работы Ястребилова, приложена к сборнику «Кальян» 1833 года. Второй — акварель Е. И. Бибиковой (этой девушкой

был увлечен Полежаев), сделанная ею в 1834 году в подмосковном селе Ильинском. Гравюра-копия выполнена в Лейпциге и впервые приложена к стихотворениям Полежаева под редакцией П. А. Ефремова (Петербург, 1889 г.). Третий — акварель, рисованная В. И. Ленцем в Москве в 1836 году, копия-литография в журнале «Исторический вестник» за апрель 1891 года. Четвертый — портрет работы неизвестного автора, изображающий поэта на смертном одре. С портрета художник Сиверс выполнил литографическую копию.

Только подлинник последнего портрета уцелел и хранится в Государственном Историческом музее. «Многочисленные портреты Полежаева, — писал В. В. Баранов, — воспроизведенные в разных журналах, чаще всего варьируют на разные лады первый (уткинский) портрет». В 1838 году после смерти поэта по требованию цензуры к этому портрету «стали пририсовывать офицерский мундир и эполеты, которые при жизни поэт никогда не носил. По общему суждению лиц, знавших и помнивших Полежаева, это особенно плохие портреты. Лицо поэта искажено до неузнаваемости пошлой улыбкой. Это — официальный портрет Полежаева».

В. В. Баранов писал, что об уткинском подлиннике очень хорошо отзывалась некто Е. А. Дроздова, знавшая поэта, и что ее воспоминания содержатся в статье Белозерского, опубликованной журналом «Исторический вестник» за ноябрь 1895 года. Так вот, значит, где находится атрибуция, документальное обоснование того факта, что первый портрет Полежаева исполнен Уткиным А. В.!

В том же, 15-м томе «Литературного наследства», где на странице 252 дано описание В. В. Барановым полежаевского портрета работы Бибиковой и рассказывается подробно его история, на странице 59 к ста-

тье Н. Ф. Бельчикова приложен этот портрет — уже как произведение неизвестного художника. И ни в одном из предыдущих изданий полежаевских стихов, ни в «Былом и думах», словом, где бы ни помещался портрет Полежаева, нигде не указывается, что это работа Уткина или Бибиковой. А про бибиковский портрет Полежаева в «Былом и думах» (т. 1, М., 1962, с. 161) вовсе говорится, что это гравюра Ф. А. Брокгауза... это после того, как в книге И. Д. Воронина о поэте даже был помещен рисунок: Бибикова пишет портрет Полежаева, этот самый.

Нужно было просматривать библиографические указатели статей о Полежаеве и Герцене, потом выписывать все эти журналы. И тут меня ожидала еще одна ценная находка. Просматривая 63-й том «Литературного наследства» (часть 3), посвященный Герцену и Огареву, я «наткнулся» на репродукцию двух карандашных рисунков Уткина, сделанных им из окна Рогожской части. Оказывается, они находились в материалах следствия по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни». Их обнаружил там автор нового исследования этих документов В. П. Гурьянов.

Рисунки представляют огромный интерес. Они мастерски выполнены, свидетельствуют, что дух художника не был сломлен; они дополняют его психологическую характеристику, данную Герценом и Лемке. Они ценны и для историков, краеведов, всех любителей старой Москвы, потому что с документальной точностью воссоздают два уголка Москвы 1834 года.

Район определяется сразу. Это нынешняя Б. Коммунистическая (бывшая Б. Алексеевская) улица. Там находилась Рогожская часть, и, по-видимому, в этом околотке и жил Уткин, ибо арестованные часто допрашивались «по месту жительства». Рисунки сделаны с двух позиций, то есть из двух окон: одно выходило на северо-восток, другое — на юго-восток. Угадываются

некоторые здания, существующие по сей день, например, на верхнем рисунке — церковь Алексея-митрополита, построенная в 1748—1751 годах на Ульяновской (бывшей Николо-Ямской,) улице. В подписи под рисунком ошибочно указывается, что это Андроников монастырь.

В статье В. Гурьянова, к моему большому сожалению, говорилось, что в следственном деле, хранящемся в Центральном государственном историческом архиве материалы допроса Уткина не уцелели. А я собирался ими заняться.

Новая находка вновь возбудила желание поискать другие произведения художника, и я продолжал рыться в старых каталогах, всевозможных именных указателях и т. п.

Незадолго перед тем вышло великолепное посмертное двухтомное издание Н. П. Смирнова-Сокольского «Моя библиотека», и я с радостью обнаружил в нем имя Уткина. Под 1539-м номером этой знаменитой библиотеки значится альманах «Пантеон дружбы» на 1834 год. Н. П. Смирнов-Сокольский установил, что виньетку, изображающую военные трофеи, рисовал А. Уткин.

Тут же была отсылка к номеру 417 другой книги Смирнова-Сокольского, «Альманахи и сборники». А там значилось:

«Пантеон дружбы на 1834 год. Типография Н. Степанова, 1834. На литографированном заглавии листа: «У книгопродавца В. Логинова» (опять книгопродавец Логинов!).

Судя по виньетке, изображающей военные трофеи, а также по военной тематике некоторых напечатанных произведений, И. О-в, составитель сборника, и друзья его, авторы других произведений, — офицеры. Подтверждают это напечатанные стихотворения Александра

Дельвига с примечанием составителя, что «двоюродный брат несравненного лирика нашего Антона Дельвига — погиб со славой, ведя на штурм охотников Л. Г. Павловского полка. Авторы А. П-в, барон Александр Дельвиг (двоюродный брат А. А. Дельвига), Алексеев, Вартеп, И. Л. Н. Ленский, М. И. О-в (И. Орлов), Пауль, Х. Сабуров, Соболев, Т-в, Я. Федоров. В сборнике есть ряд стихотворений, посвященных его памяти».

Когда прибыла заказанная в Ленинской библиотеке книга, я еще раз убедился, что Уткин был довольно искусным рисовальщиком. А установление его близости к кружкам офицеров, в среде которых очень популярно было имя и стихи Полежаева, также человека военного, приоткрывало новую страничку в биографиях и художника и поэта.

С большим трудом нашел я статью Белозерского! Она оказалась не в 11-м ноябрьском номере журнала «Исторический вестник» за 1895 год, как ошибочно указывалось в статье Баранова, а в 9-м сентябрьском номере того же журнала за тот же год.

Статья оказалась необыкновенно содержательной, и после нее авторство Уткина уже не вызывало никаких сомнений. А вот что писал Евгений Белозерский о старушке Дроздовой:

«Госпоже Дроздовой теперь семьдесят пять лет. Родители ее имели в Москве свои дела и жили очень хорошо. Многие из тогдашних студентов были приняты в их доме как свои, из которых она помнит Полежаева, Коврайского, Лозовского, Уткина и других. Эта компания студентов составляла свой кружок. Душою товарищества был поэт Полежаев, который, безусловно, выделялся среди других студентов своим умом и находчивостью. Он был очень статен собой и имел значительно выразительные глаза... На свою беду поэт перед окончанием университетского курса написал известную

шуточную поэму «Сашка». Название «Сашка» относилось, собственно, не к одному только Александру Полежаеву, но и ко всем другим товарищам — Коврайскому, Лозовскому и проч., которые все назывались Александрями. Эта поэма была написана на нескольких листах писчей бумаги, а на первой странице карандашом был нарисован Уткиным портрет государя с надписью: «Рисовал студ. Уткин»*.

Первые годы после заговора декабристов было очень строго. Когда государь Николай Павлович приехал в Москву на коронацию, то неизвестно кем-то рукописная поэма «Сашка» была передана ему».

Через сто с лишним лет советские исследователи узнали, что донос написал жандарм И. П. Бибилов. Он указывал, что воспитанники университета «не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собою никакой власти». В доказательство он цитировал отрывки из поэмы университетского студента Полежаева.

Известно, что произошло потом. Об этом рассказал А. И. Герцен в «Былом и думах» со слов самого Полежаева. 28 июня 1826 года, то есть через две недели после казни декабристов, Полежаева на рассвете привезли в Кремлевский дворец. Николай указал ему на переписанный набело экземпляр поэмы «Сашка» и спросил, он ли сочинил ее? Полежаев ответил утвердительно, и Николай властно приказал ему читать поэму вслух.

«Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак министру. Министр закрывал глаза от ужаса. —

* Дроздова допускает неточности. Так, ни Уткин, ни Лозовский студентами не были.

Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату. Это все еще следы, последние остатки, я их искореню».

Не случайно на первой странице друг Полежаева художник Уткин изобразил Николая I. Поэма была «крамольной» и, как справедливо замечают исследователи, именно этой стороной, а не натуралистическими непристойностями («неприличных» стихов ведь сочинилось немало) задела за живое царя, вызвала его бешеную злобу. «В поэме, — подчеркивал советский исследователь Н. Бельчиков, — имеются резкие, бичующие стихи, антиклерикальные и освободительные идеи. Поэт выступает против сословных привилегий, чинопочитания, низкопоклонства, против церкви, против религии и, наконец, прямо против презренных палачей отчизны, против бюрократов и жандармов».

Поэт обращался к отчизне:

Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?!

После допроса Николай распорядился о зачислении Полежаева нижним чином в Бутырский полк. «Пиши мне», — лицемерно заявил он, обнял и поцеловал поэта.

«Пользуясь данным ему правом писать государю, — рассказывала Дроздова о поэте Е. Белозерскому, — он послал ему просьбу о помиловании. Не получая ответа, он самовольно оставил полк и пошел пешком в Петербург, но одумался и вернулся... За это по конфирмации государя он был лишен личного дворянства и разжалован в рядовые без выслуги. В жизни поэта не осталось никакого просвета и никакого выхода. Он запил горькую. В это время с него и был снят... портрет, писанный студентом Уткиным, который и сам был потом сослан в Сибирь. При этом необходимо оговориться, что соб-

ственно подлинный портрет работы Уткина бесследно исчез, но с него в Москве литографским способом было снято пятьдесят экземпляров».

Е. Белозерский добавляет, что один из этих редких экземпляров сохранялся у Дроздовой. Она отдала портрет ему, а Белозерский передал его в Императорскую публичную библиотеку (ныне библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

«Портрет, по словам госпожи Дроздовой, — добавляет Белозерский, — очень похож, «совсем как живой».

Больше об Уткине и замечательном портрете его работы в статье Белозерского ничего не говорится. Ценные сведения сообщила ему Дроздова! И лишь в одном ошиблась: Уткин был сослан не в Сибирь, а в Шлиссельбургскую крепость навечно, как писал Герцен, слышавший объявление приговора лично. Там художник и умер в 1836 году в промозглом каземате.

А 16 января 1838 года в Московском военном госпитале умер Александр Иванович Полежаев. Незадолго перед тем он в отчаянии снова ушел из полка. Его наказали с невероятной жестокостью.

Поэт умер, но остался его портрет — лучшее произведение художника Алексея Уткина.

...Когда этот очерк был уже подготовлен к печати, исследователь творчества Полежаева известный литературовед В. И. Безъязычный сообщил мне, что разысканный им и опубликованный портрет Соколовского тоже, по всей вероятности, был создан А. Уткиным. Об этом, в частности, говорит общность манеры исполнения этого портрета с полежаевским. Да и вряд ли кто-нибудь из художников был так же близок с Соколовским.

ПЕРСТЕНЬ ВЕНЕВИТИНОВА

Когда же я в час смерти буду
прощаться с тем, что здесь люблю,
тогда я друга умолю,
чтоб он с моей руки холодной
тебя, мой перстень, не снимал,
чтоб нас и гроб не разлучал.

Д. Веневитинов.
К моему перстню

Помещения художественного фонда Исторического музея в Москве переполнены старинными портретами и гравюрами. Со стен смотрят блистательные военные пушкинских времен, дамы и кавалеры в париках, надменные старцы с тонкими поджатыми губами в обшитых галунами мундирах. Молодящиеся старухи и только что вступившие в свет прелестные барышни. Тут же гравюры с видами каких-то городов и домов, где происходили, видимо, те или иные исторические события.

«Хозяйкой» этой старины была научный сотрудник музея М. Ю. Барановская — знаток истории декабристов. Когда Издательство детской литературы готовило к печати книгу А. И. Гессена «Во глубине сибирских руд», подобрать иллюстрации к этой книге о декабристах и их женах попросили Барановскую.

У нее на учете все захоронения и памятники декабристам. Она ревностно следила за их сохранностью. Иногда ей приходилось присутствовать при торжественной и печальной церемонии перенесения праха с одного кладбища на другое.

И на этот раз дело касалось одной могилы.

— Итак...

— Итак, это не самоубийство!

— Но кисти рук... Ведь они лежали не на груди, как этого требует захоронение по обрядам православ-

ной церкви, а вдоль тела. Ведь так хоронили самоубийц!

— Кисти рук могли изменить положение от сотрясения почвы, осыпаний земли. Как-никак минуло сто с лишним лет!.. Но самое главное, что совершенно опровергает гипотезу о самоубийстве, так это тщательное, вдумчивое изучение его биографии, творчества. Нет, этот человек не мог поступить подобным образом!

Последнюю фразу она произнесла особенно убежденно. И, глядя на прекрасный акварельный портрет юноши-поэта, Мария Юрьевна заметила:

— Насколько я знаю иконографию, поэт был самым красивым из русских, да, пожалуй, и зарубежных писателей. Красоту и благородство его лица можно сравнить, пожалуй, только с прекрасными чертами Байрона. И подумать только, ему не было и двадцати двух лет!

В конце февраля 1825 года у дома Нарышкиных в Москве на Пречистенском бульваре остановилось несколько легких повозок, обитых изнутри мехом. Приехавшие входили в дом, а лошади и повозки отправлялись во двор. В освещенных комнатах за шторами замелькали тени.

В тот вечер в доме Нарышкиных глава «Северного общества» К. Ф. Рылеев читал свои «Думы». Здесь был и один из руководителей «Северного общества», Евгений Оболенский, и друг Пушкина по лицу Иван Пущин. Среди гостей находился и дальний родственник хозяина дома Михаила Нарышкина — Александр Кошелев.

На другой день он вместе с другом своим Иваном Киреевским возбужденно звонил у подъезда небольшого дворянского особняка в Кривоколенном переулке. Навстречу друзьям вышел стройный, изящно одетый два-

дцатилетний юноша с бледным лицом — поэт Дмитрий Веневитинов. В это же время к ним подошел Николай Рожалин, живший тогда в доме Веневитиновых.

Все четверо состояли в тайном, возникшем два года назад «Обществе любомудрия» — первом русском философском кружке. Они увлекались немецкой идеалистической философией, искусством, поэзией, «боготворили Гёте. Председателем общества был князь Владимир Одоевский. Общественных дел он не любил и избегал, в своем литературном творчестве отдавал дань мистицизму. Секретарем общества был Дмитрий Веневитинов.

Кошелев взволнованно рассказал о собрании у Нарышкиных, и они весь день только и говорили, что «о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления».

Так писал много лет спустя в своих изданных за границей мемуарах Александр Кошелев.

К исходу ноября того же, 1825 года в Москве стало известно о внезапной смерти в Таганроге Александра I.

Кошелев говорит, что в тот промежуток времени, то есть между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14 декабря, они часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина. У него сосредоточивались все доходящие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Один из присутствующих на этих беседах, князь Н. И. Трубецкой, адъютант графа Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве, брался доставить связанным своего начальника куда потребуется. Предложениям и прениям не было конца. Юноше Кошелеву казалось, что и для России уже наступил великий 1789 год.

Но вот настал день, когда вместо страстно ожидаемого известия о низвержении самодержавия пришло совсем другое: о выстрелах на Сенатской площади в Пе-

тербурге, об убитых и раненых, об арестах восставших офицеров. И стало ясно: восстание подавлено. Идет расправа над его участниками. Это произвело на Веневитинова потрясающее действие.

Потом возникли новые слухи, свидетельствует Кошелев: южная армия отказалась присягать новому царю Николаю I и идет на Москву для провозглашения свободной конституции. А для соединения с ней движется якобы известный «либералист» генерал Ермолов.

Любомудры снова воспряли духом. И даже начали ежедневно ездить в манеж и фехтовальную залу, чтобы быть в боевой форме в нужный момент.

Но шли дни, а никакой южной армии, никаких войск Ермолова на улицах Москвы не появлялось. Начались аресты лиц, причастных к восстанию 14 декабря. Друзья Веневитинова не сомневались, что властям известна их, как они считали, антиправительственная деятельность, и ожидали ареста. «Мы, молодежь, — вспоминает Кошелев, — почти желали быть взятыми и тем стяжать известность и мученический венец». Правительству же была очевидна их непричастность к восстанию, их наивное рыцарство, что ли. Но едва распространились слухи о расправе над декабристами, испуганный князь Одоевский заявил о ликвидации «Общества любомудрия» и швырнул в пылающий камин устав и протоколы.

Горькое разочарование охватило Веневитинова. А тут еще и безответная любовь к светской красавице Зинаиде Волконской. Когда произошло решительное объяснение, она ответила, что готова быть ему лишь другом, и на прощанье подарила перстень.

В сентябре 1826 года в Москву приехал Пушкин. Николай I, вступивший на престол, «милостиво» освободил его из ссылки в Михайловское, куда отправил его Александр I.

Александр Сергеевич остановился сначала у дяди,

поэта Василия Львовича Пушкина, а потом у друга своего Соболевского. Утром 10 сентября навестить поэта пришли Чаадаев, Веневитинов, Иван Киреевский и Виельгорский. С Веневитиновым Пушкин давно хотел познакомиться. Он с интересом прочитал его разбор критики Николая Полевого первой главы «Евгения Онегина», да, кроме того, они состояли с Веневитиновым в дальнем родстве.

12 октября 1826 года в Кривоколенном переулке в доме Веневитиновых Пушкин читал только что написанного «Бориса Годунова». Были Адам Мицкевич, Баратынский, музыкант и меценат Виельгорский... Погодин, присутствовавший при чтении, через сорок лет писал, что кровь его приходит в движение при одном воспоминании об этом чтении.

Пушкин очаровал впечатлительного и отзывчивого Веневитинова.

Беседы Пушкина с Веневитиновым привели к обоюдному решению основать журнал «Московский вестник». Веневитинов, как несколько велеречиво писали о нем позднее журналы, надеялся проповедовать в нем свои возвышенные идеалы, решать эстетические проблемы. А между тем влиятельные знакомые усиленно хлопотали о переводе Веневитинова в Петербург, с тем чтобы отдалить его от Зинаиды Волконской.

* * *

По унылому московско-петербургскому тракту ехали два экипажа: в одном сидел Веневитинов, в другом — чиновник департамента Федор Хомяков и француз Воше. Последний только что вернулся из Нерчинских рудников, куда сопровождал княгиню Екатерину Трубецкую, уехавшую к мужу.

Веневитинов был молчалив и печален. На вопросы

спутников отвечал односложно, на просьбу почитать стихи — отказом. По временам отдергивал полсть экипажа и безрадостно глядел на нищие темные деревни, однообразно-тоскливые погосты, пустые осенние поля.

Иногда он доставал часы, к цепочке которых был прикреплен чугунный перстень. Веневитинов подносил его к глазам, долго вглядывался, хмурился и наконец прятал часы и наглухо застегивал сюртук...

На Московской заставе Петербурга, у полосатого шлагбаума, экипажи задержали дольше обычного. Жандармский ротмистр потребовал паспорта. Он тщательно прочитал бумагу Веневитинова, которая гласила, что тот переводится по службе в Петербург, небрежно просмотрел документы Хомякова и Воше. Потом не спеша вернул паспорт Хомякову и, заложив за обшлаг паспорта Веневитинова и Воше, обратился к ним:

— А вас, господа, прошу следовать за мною. Вы арестованы!

Встревоженный Хомяков смотрел на своих товарищей. Но те были внешне спокойны, а на лице Веневитинова, к своему удивлению, Хомяков заметил, как ему показалось, даже улыбку.

Веневитинова продержали около трех суток в сыром и холодном помещении гауптвахты. Допрос ему чинил генерал Потапов, назначенный следователем по делу декабристов. Сразу же по выходе из гауптвахты начался у Веневитинова сильный кашель и перемежающийся озноб.

15 марта 1827 года, через три с лишним месяца после ареста, Веневитинов умер. Художник Афанасьев зарисовал поэта в гробу. Волнистые, красиво расчесанные волосы устало падали на прекрасный высокий лоб.

Тело поэта в цинковом гробу доставили в Москву и похоронили на кладбище Симонова монастыря.

Неожиданная и таинственно-трогательная смерть

поэта потрясла его друзей и почитателей. Поразила она Пушкина и Дельвига. Дельвиг писал Пушкину: «Милый друг, бедного Веневитинова ты уже, вероятно, оплакал. Знаю, смерть его должна была поразить тебя». Пушкин, вспоминая современники, горестно воскликнул по адресу петербургских друзей поэта: «Как вы допустили его умереть!»

По Москве и Петербургу быстро разнеслась молва о гибели юноши-поэта от страстной любви. Дамы увлеченно переписывали в альбомы стихотворение Веневитинова «К моему перстню»:

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.

О, будь мой верный талисман!
Храни меня от тяжких ран
И света, и толпы ничтожной,
От едкой жажды славы ложной,
От обольстительной мечты
И от душевной пустоты.

Века промчатся и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верный.

Безвременно скрытого «могильной сенью» Веневитинова отождествляли с убитым на дуэли Ленским. «Неземной поэт-мечтатель», «дивный юноша» Веневитинов, по выражению некоторых современников, прошел по земле со своей сладостно-скорбной и томной лирой. Смерти его посвящались десятки стихов, в которых бы-

ли «лебеди» и «розы», «музы» и «алтари», «чары» и «жребии». Наиболее сентиментально настроенные люди со вздохом вспоминали модную тогда элегию Жуковского:

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастье, не знал он в мире сем,
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.

15 марта в течение многих лет друзья Веневитинова скорбно, торжественно и молчаливо сидели за поминальным столом. Один из приборов, по обычаю, всегда стоял пустым. Собравшимся казалось: тень Веневитинова незримо присутствует между ними. Это умиляло и придавало очарование таинственности.

22 июля 1930 года к бывшему Симонову монастырю прибыла группа работников Наркомпроса. В связи со сносом части территории монастыря, на которой возводился Дворец культуры, им поручалось отыскать могилу Веневитинова и перенести его прах на Новодевичье кладбище. Могила была найдена и раскопана. Показался цинковый гроб. В нем лежал хорошо сохранившийся скелет. Антропологов поразили сильно и гармонично развитый череп, музыкальная развитость пальцев. На безымянном пальце правой руки чернел перстень.

Вечером того же дня останки Веневитинова в специально приготовленном гробу с возложенными на него цветами были захоронены на Новодевичьем кладбище.

А через несколько лет среди части московских литературоведов пронесся слух, что при вскрытии гроба руки покойного оказались не скрещенными на груди, а лежали вдоль тела. Так хоронили только самоубийц.

Перстень Веневитинова теперь хранится в фондах Литературного музея. Трудно передать волнение, которое испытываешь, когдаходишь в это скромное одноэтажное здание.

...Внесли футляр с заветным сокровищем. Открыли крышку.

Вот он, внешне ничем не примечательный чугунный перстень, без всяких украшений и изображений, словно бы несколько приплюснутый, деформированный.

В 1706 году при раскопках засыпанного пеплом Геркуланума нашли «в могиле пыльной» и этот перстень. Он попал в лавку антиквара, потом в кунсткамеру коллекционера, а затем к княгине Зинаиде Волконской.

«Променяв на Москву по прихоти своего капризного воображения двор Александра I, петербургский свет и Италию, она неожиданно явилась с присущим ей везде блеском в свой наследственный особняк на Тверской, гостеприимно распахнувший двери не только целой толпе иностранцев — певцов, актеров, антикваров, художников, но и всей Москве, — писал историк русской литературы В. Комарович. — Зинаида Волконская отличалась редко встречающейся в женщинах независимостью, пренебрежением светскими условностями. «Северная Коринна» смело противопоставляла им артистическую свободу. Обладательница прекрасного голоса и крупного сценического дарования, она несколько раз выступала в операх России на сценах парижских и римских театров; ее сценический образ в роли Россиниева Танкреда и Жанны д'Арк из ее собственной оперы увлекательно своей кистью Брюллов и Бруни. Пушкин и Мицкевич, Баратынский и Вяземский посвятили «царице муз и красоты» вдохновенные строки; встречами с нею в своем Веймаре дорожил старик Гёте».

Она подарила Веневитинову перстень как «залог со-

страдания», но не любви. И безнадежная любовь к такой женщине, конечно, могла быть поводом к самоубийству.

Версию о возможном самоубийстве высказал и доктор филологических наук В. Н. Орлов.

Поэт находился в крайне тревожном настроении. В последнем его письме (к Погодину) есть такие строки:

«Я уже выше писал, что тоска замучила меня. Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества, я — один».

Однако ни эти, ни другие подобные строки не доказывают еще самоубийства поэта, тем более что ряд документов как будто опровергает эту версию.

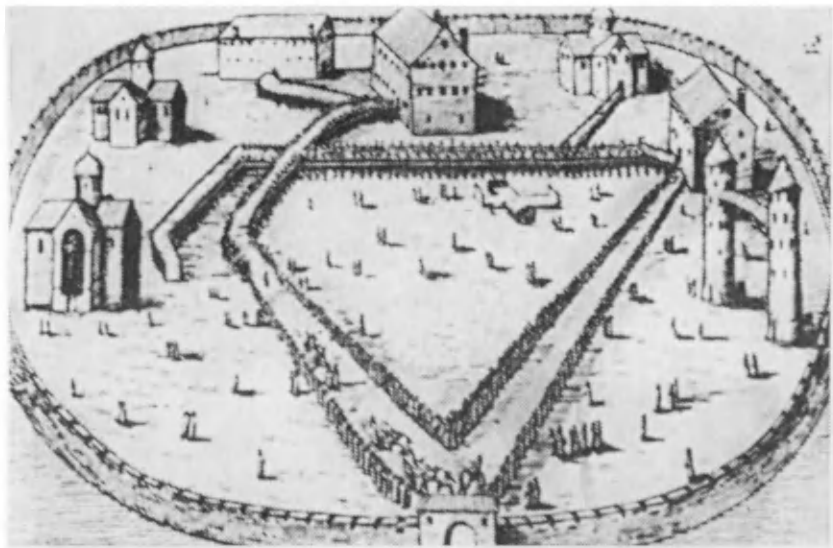
«Мы отпели его у Николы Морского и тело его отправили в Москву», — записал А. Кошелев. Самоубийц, как известно, не отпевали.

Следовательно, Веневитинов умер «естественной смертью». Естественной смертью в двадцать два года?!

Попытаемся разобраться в последних месяцах его жизни. Вот что писала некая Полина Николаевна Лаврентьева:

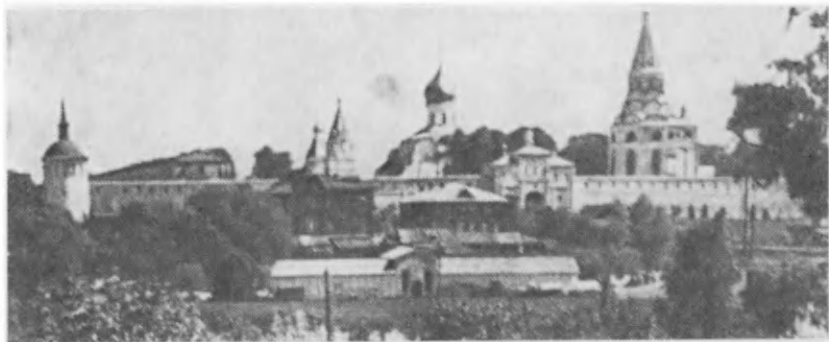
«Говорили, что он бежал из Москвы, страстно любя Зинаиду Волконскую, которая холодна к нему была. Мы же знали другое. О принадлежности Веневитинова к обществу (декабристов. — В. О.) знали в Москве и кое-кто из судебной палаты, в особенности Л...»

П. Н. Лаврентьева была близкой приятельницей А. Г. Муравьевой, жены декабриста Никиты Муравьева. «Дома у нас были лихорадочные сборы Александры Григорьевны в Сибирь», — сообщала она в том же письме. Дружила она и с Варварой Ивановной Ланской (не случайно называет ее «Варенькой»), в доме которой на Мойке и жил Веневитинов. Представляющее огромный интерес письмо ее единственный раз было опубликовано



Александровская слобода при Иване Грозном. С гравюры Я. Ульфельда. XVI в.

Панорама Александровской слободы. Современный вид.





А. П. Чехов, его родные и друзья.



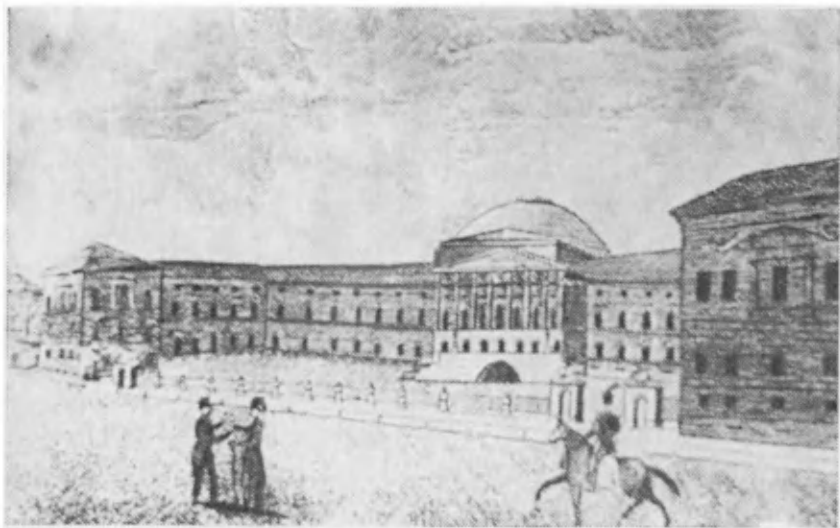
И. А. Крылов. С наброска К. Брюллова.



Вельможа. Рисунок И. А. Крылова.



А. И. Полежаев. С портрета А. И. Уткина.



Московский университет в
1820—1830-х годах.



П. А. Катенин. С портрета не-
известного художника.

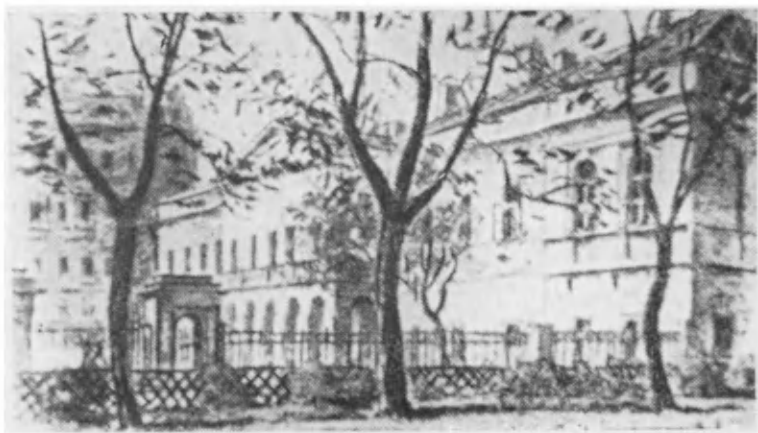
Москва, Суворовский (быв-
ший Никитский) бульвар,
дом 7а, где скончался
Н. В. Гоголь. С акварели
А. Могилевского. ►



Ю. В. Жадовская. С портрета неизвестного художника.



М. П. Погодин. Литография.





Деревня Тентетникова. С рисунка А. Лаптева ко II тому
«Мертвых душ».



А. Н. Толстой.



Д. В. Вeneвитинов.
С портрета неизвестного
художника.



Зинаида Волконская. С портрета П. Бенвенути.



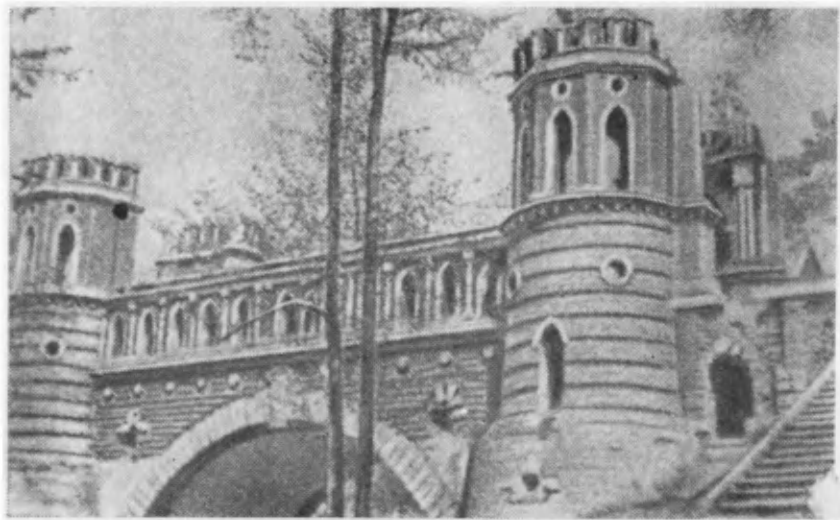
Перстень Веневитинова.



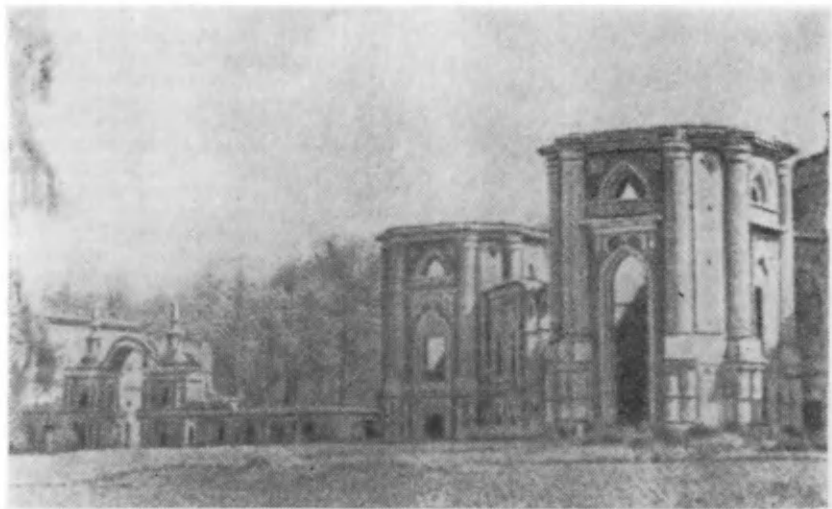
Бляшки пермской чуди. Зарисовки А. Зырянова.



Дом Якова Вили-
ма Брюса.



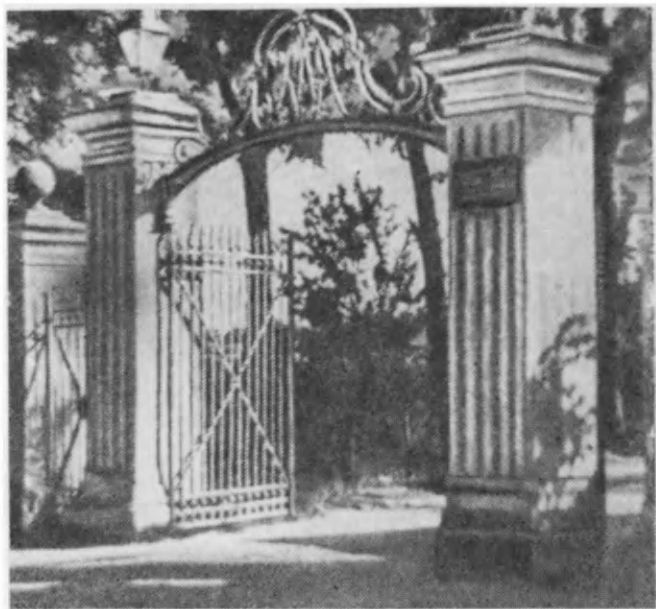
Фигурный мост в Царицыне. Архитектор В. И. Баженов.



Дворец в Царицыне. Архитектор
М. Ф. Казаков.



«Черная дама» — Анна Катажи-
на Радзивилл. Гравюра.



Ворота Несвижского парка.



В. А. Гартман.

«Балет невылупившихся птенцов». Рисунок В. Гартмана.



«Богатырские ворота». Рисунок В. Гартмана.





Пушки из крепости Старочеркасской.
Рисунок Б. Плевакина.



Войсковой храм станицы Старочеркасской. Рисунок Б. Плевакина.



Печать Войска Донского

в книге «Д. В. Веневитинов. Полное собрание сочинений», 1934.

Но если о принадлежности Веневитинова к декабристам знали «власти предержавные» в Москве, что им стоило снестись с Петербургом? И кто такой Л.? Видимо, он тогда еще был жив, и Лаврентьева не хотела по вполне понятной причине называть его полного имени. Комментатор письма, недавно умерший советский исследователь творчества Веневитинова Б. В. Смиренский, предполагал, что это граф Ламбер, один из членов следственной комиссии по делу декабристов. Б. В. Смиренский, видимо, располагал документами, позволявшими ему утверждать, как он писал, что граф Ламбер «не раз намеками дал чувствовать это», то есть что судебной палате известна принадлежность поэта к декабристам.

После освобождения из-под ареста, проживая в Петербурге у Ланских и посещая службу, Веневитинов много писал. В сущности, все его лучшие произведения (их очень высоко ценил Белинский) созданы за два месяца 1827 года: стихотворения «Три участи», «Кинжал» (запрещенный цензурой), «Поэт и друг», «К моему перстню», «Жертвоприношение» и другие.

«У него в 24 часах, из которых составлены сутки, не пропадает ни минуты, ни полминуты. Ум, и воображение, и чувства в беспрестанной деятельности», — свидетельствовал Хомяков.

А между тем... А между тем Веневитинов после ареста был уже смертельно болен. В то время когда дамы любовались его красотой, изяществом, хрупкостью («словно изваяние из мрамора... громадные глаза голубые, опущенные очень длинными ресницами»), поэт с каждым днем словно таял.

Несомненно, он уже был болен чахоткой. И подметил это не кто иной, как директор департамента, куда поступил Веневитинов. Он отозвался о нем как о человеке, подающем большие надежды, но тут же добавил: «Он

не долго пробудет с нами, у него смерть в глазах. Он скоро умрет».

О том, что происходило на допросе, мы можем только догадываться. На вопрос, принадлежал ли он к тайному обществу, Веневитинов ответил, что «если он, Веневитинов, и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему». К этому сообщению Пятковского, первого биографа Веневитинова, Кошелев как бы добавляет:

«...он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него сделанным ему допросом... Он не любил об этом говорить, но видно было, что-то тяжелое лежало у него на душе».

За себя ли, за свою ли судьбу беспокоился он? Ведь тот же Кошелев утверждал, что Любомудры, а следовательно и их секретарь, готовились разделить судьбу арестованных, а когда это их миновало, были едва ли не огорчены. Да и зачем тогда сознался он, что легко мог бы принадлежать к декабристам?

А вот и другое, не менее важное свидетельство, в честности и искренности которого сомневаться не приходится. Оно принадлежит снова П. Н. Лаврентьевой:

«Сколько раз говорил мне молодой Веневитинов, что он тоже... должен быть с вами в Сибири, а не жить в Петербурге, но Варенька всегда утешала его и говорила, что еще много членов общества не хотели открыть сидящие в крепости, и не открыли. Помню его грустные глаза, его ресницы, какие едва нашлись бы еще в мире, и помню слезы, когда вспоминали о Рылееве».

Нет, не за себя волновался поэт! Можно предположить, что беспокоился он за судьбу любимой женщины. Ходили упорные слухи о причастности к событиям 14 декабря Зинаиды Волконской.

И в самом деле, 9 августа 1826 года шефу жандармов доносили: «Между дамами самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня

Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг».

И не в связи ли с опасением за судьбу Волконской находятся еще не расшифрованные слова Веневитинова из его письма к брату Алексею от конца 1826 года: «Москву оставил я, как шальной, — не знаю, как не сошел с ума».

Непосредственной причиной смерти поэта считалась простуда. После бала у Ланских, разгоряченный танцами, Веневитинов перебежал через двор в свой флигель в едва накинутой на плечи шинели. Стояла холодная, промозглая погода, обычная для осеннего Петербурга. И вот унесший его в могилу «жесточайший» тиф (выражение А. Пятковского).

Но по поводу болезни и смерти Веневитинова его племянник Михаил Алексеевич Веневитинов писал в журнале «Русский архив»:

«Простудился ли Дмитрий Владимирович в том помещении, где был арестован, или подвергся другому какому-нибудь вредному влиянию, об этом не сохранилось точных семейных преданий, которые ограничиваются указанием на гигиенические условия места заключения как на главную причину окончательного расстройства здоровья моего дяди... Кашель не покидал его, причиняя частые и сильные боли в груди».

И наконец, та же П. Н. Лаврентьева, очень близкая семье Ланских, утверждает:

«Он был заключен в грязное и сырое помещение и, выйдя оттуда, долго хворал и не мог посещать Архив коллегии иностранных дел, где он числился на службе... Подозрительность нашей полиции была причиной его смерти, и они отдадут за него ответ творцу нашему».

С болью и гневом о трагической участи юного поэта писал Александр Иванович Герцен:

«Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу... Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распустившись, спеша оставить жизнь... Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет».

Итак, трагически-романтическая судьба Веневитинова полна тайн. Советским исследователям еще предстоит выяснить немало обстоятельств жизни и творчества поэта. Например, в одном из архивов было найдено резкое антиправительственное стихотворение «Родина», автором которого одно время считался Веневитинов, но веских доказательств этому нет. «Тайный» Веневитинов только одна из сотен загадок, которые надлежит разгадать нашим литературоведам.

«НЕТ, НИКОГДА ПОКЛОННИЧЕСТВОМ НИЗКИМ...»

Забывтый писатель. Но почему, и заслуженно ли забыт? А не звучат ли его стихи до сих пор живее, чем иные из современных?

Из бесед с В. А. Архиповым

Учитель русской словесности костромского пансиона госпожи Прибытковой Петр Миронович Перевлесский вечером при свете лампы просматривал сочинения своих пансионеров. Темой был роман Пушкина «Евгений Онегин». Осталась последняя тетрадь. Молодой учитель притомился, к тому же хозяйка позвала к самовару.

И все-таки откладывать проверку тетрадей не хотелось. После чая нужно было почитать только что полученный и еще не разрезанный журнал... Учитель взял в руки тетрадь. Она принадлежала некой Юлии Жадов-

ской. Учитель пытался припомнить ее лицо, но так и не вспомнил — он провел всего только два урока.

Перевлесский взял тетрадку и отправился в столовую. Прихлебывая чай, начал читать сочинение.

И уже с первых строк понял, что написано оно совершенно необыкновенно, и чем дальше читал, тем более удивлялся. Ученица писала с такой силой чувства, так глубоко разобралась в переживаниях Татьяны, так пламенно сочувствовала ей, что более красноречиво не мог бы написать сам Перевлесский, а он уже начинал печататься.

Утром, возвращая тетради, он увидел Жадовскую. Перед ним стояла девушка-калека. Одной руки у нее не было вовсе, на другой, вдвое укороченной, — три пальца. Но совершенно особенными и по-своему прекрасными были ее близорукие раскосые глаза. В них светились и ум, и доброта, и нежность.

Пансион, как уже говорилось, принадлежал госпоже Прибытковой. К ней-то и обратился учитель с вопросом о Жадовской, откуда, мол, она, из какой семьи.

— Многого же вы еще не знаете, — ответила та. — Юлия — дочь весьма distinguished дворянина, чиновника особых поручений при ярославском губернаторе. О, это лучшая по успехам девица в пансионе. Вы, надеюсь, уже убедились в этом?

Перевлесский кивнул.

Странное состояние начал испытывать он. С каждым днем он все больше и больше увлекался этой 16-летней девочкой. Он говорил себе, что безумие любить калеку, да еще дочь богатого дворянина, тогда как он человек без роду, без племени, получающий всего лишь скромное жалованье. А между тем беседы становились все оживленнее и вскоре перешли в тайные встречи.

Перевлесский тогда еще не знал, что Юлия уже написала несколько стихотворений, посвященных ему. Богатейшее воображение девушки разыгрывалось все

жарче. По ее просьбе Перевлесский рассказал про свою жизнь, небогатую событиями, но обильную унижениями и горечью, — от жалости и любви к своему избраннику Юлия плакала.

Настал день, когда молодой учитель сделал воспитаннице предложение. Хорошо зная отца, Юлия почти не сомневалась в его отказе. И она не ошиблась. Как ни любил ее отец, но он и мысли не допускал о том, что его дочь, столбовая дворянка, может выйти замуж за семинариста, как именовал он окончившего учительскую семинарию Перевлесского. Видя, что Юлия увлечена не на шутку, он почел за единственное благо навсегда разлучить ее с предметом обожания. Немало усилий приложил он, чтобы добиться перевода учителя в Москву. Да и дочь свою, жившую в Костроме, у тетки, перевез к себе в Ярославль.

Отец, морской офицер в отставке, установил для своих домашних жесткий, почти военный режим. В одиннадцать вечера в доме гасили свет и наступала мертвая тишина. Но Юлия спать не могла. Она страдала, и бессонными ночами, полными тоски и отчаяния, как бы сами собой рождались ее стихи.

Если первые стихотворения, от которых остались лишь смутные воспоминания, исполнены бурного и нежного чувства, то теперь они полны меланхолии, и только изредка прорывалась в них страстная надежда на возможность счастья.

Отец, убедившись, что поэтическое чувство всецело захватило Юлию, услышав лестные отзывы о ее сочинениях от родных и знакомых, решил произведениям дочери дать ход. Трудно ответить на вопрос, чего здесь было больше: любви ли к дочери, раскаяния или, наконец, честолюбия. Сама Жадовская, человек редкой отзывчивости, склонная видеть в людях прежде всего хорошее, дала отцу суровую оценку (в автобиографическом романе): «В домашней жизни он создал себе

железный трон, и воля его близких, нравственная самостоятельность их личности разбивалась об этот трон». И вместе с тем в письмах она защищала отца от нападок брата и его жены, оправдывая многие поступки старшего офицера.

Так или иначе, но Жадовский повез дочь в Москву, где жил его знакомый литератор Ю. Н. Бартенев. Последний рекомендовал ее в журнал «Москвитянин». Редактор журнала М. П. Погодин еще ранее поместил ее стихотворение «Водяной».

Стихотворение было слабенькое. Возможно, Погодин выбрал его потому, что в это время сильно увлекался славянофильством, изучал историю древних славян и т. п.

Впрочем, вскоре в том же журнале появились и другие стихи юной поэтессы, и они-то своей искренностью и безыскусственностью привлекли симпатии многих читателей.

Потом отец увез ее в Петербург. Там ей довелось посещать вечера известного собирателя предметов искусства, владельца первоклассной картинной галереи Федора Ивановича Прянишникова. Завязалось знакомство с Тургеневым, Дружининым, князем Вяземским; особенно же подружилась Жадовская с литератором Вронченко, переводившим тогда «Фауста» Гёте. С ним установилась теплая переписка.

В 1846 году вышла первая книжка Жадовской, куда вошли 58 стихотворений, прежде опубликованных в «Москвитянине». Появились печатные отзывы. Журнал «Современник», редактировавшийся после смерти Пушкина Плетневым, писал, что хотя в стихах Жадовской есть «неисправности в выражениях», но и множество «достоинств». В доказательство приводилось стихотворение «Приближающаяся туча», в котором, по мнению рецензента, поэтессе «очень удастся выразить свои чувства при явлении природы».

Как хорошо! В безмерной высоте
Летят рядами облака чернея,
И свежий ветер дует мне в лицо,
Перед окном цветы мои качая.

Вдали гремит, и туча, приближаясь,
Торжественно и медленно несется...
Как хорошо! Перед величием бури
Души моей тревога утихает.

Появились и другие доброжелательные рецензии, отозвался и Белинский. Приговор он вынес суровый, но справедливый. Великому критику была чужда поэзия мечтательная, идеалистическая, его влекли образы глубокие и действенные, каких не могло быть у Жадовской, сосредоточенной лишь на своих чувствах.

«Стихотворения г-жи Юлии Жадовской были превознесены почти всеми нашими журналами, — писал Белинский. — Действительно, в этих стихотворениях нельзя отрицать чего-то вроде поэтического таланта. Жаль только, что источник вдохновения этого таланта не жизнь, а мечта... Почти в каждом своем стихотворении не спускает она глаз с неба и звезд, но нового ничего там не заметила».

Такой отзыв Жадовскую не смутил. Правду она ценила превыше всего. Она говорила впоследствии, что из всех тогдашних критиков лишь один Белинский умел хотя и резко, но правдиво судить произведения литературы.

Идут годы. Жадовская по-прежнему живет в Ярославле с деспотом отцом. Иногда, впрочем, ездит к родственникам в город Буй и села Субботино и Панфилово того же уезда (где она родилась в 1824 году). Она много читает и пишет, причем не только стихи, но и прозу, которая все же выходит у нее слабее. Симпатии ее явно на стороне демократической части общества. Теперь поэзия ее все чаще сходит с небес на землю. На земле же она видит гораздо больше горя, чем радости.

Ее печалит безотрадная судьба женщины, и она рисует безрадостное будущее беспечно играющей девочки (стихотворение «Дума»). В большом сюжетном стихотворении «Посещение» она рассказывает о любви девушки и юноши, о их несчастной судьбе. Девушка вынуждена идти не за него, а за нелюбимого и богатого «с холодным и резким лицом». Замечательна в своем роде концовка стихотворения.

А что же она?.. Э, читатель!
Какое нам дело с тобой
До ближнего тайных страданий
Мы сами страдаем порой.

Порой и поплачем украдкой,
Поропщем, пожалуй, подчас...
Да что же? Никто ведь не спросит
Об этом с участием у нас.

Замечательно ее стихотворение, посвященное поэту Николаю Щербине, с которым Жадовская познакомилась в столице.

Боясь житейских бурь и смут,
Бежишь ты, грустный, от людей.
Ты ищешь сладостных минут
Под небом Греции твоей.

Но верь, и там тебя найдут
Людские ропот, плач и стон;
От них поэта не спасут
Громады храмин и колонн.

Себялюбиво увлечен
Ты блеском чувственной мечты.
Прерви эпикурейский сон,
Оставь служенье красоты.

И скорбным братьям послужи.
За нас люби, за нас страдай.
И духа гордости и лжи
Стихом могучим поражай.

Любопытно стихотворение «Отрывки из неоконченного рассказа». В нем немало колоритных сценок. Няня рассказывает девочке сказки «о царях и колдунах, о диковинной жар-птице, об Иване-дурачке, об его чудесном счастье». В этом месте автор делает такое отступление: «Счастье в сказках дуракам! Да в одних ли сказках, полно?» Такие «вольные» мысли между строк часто мелькали в стихах Жадовской.

Удивительно, как эти стихи пропустила цензура! Второго апреля 1849 года Жадовская писала Ю. Бар-теневу:

«Цензура обидела... например, видит коммунизм и возмутительные мысли в след. стихотворении...» И далее она приводит само стихотворение. Ребенок спрашивает у матери, отчего бледен месяц. Мать отвечает, что бледен он потому, что судьба велела ему быть свидетелем человеческих страданий.

В последние годы царствования Николая I цензура особо свирепствовала. За то, что назвал умершего сатирика Гоголя великим, Тургенев был выслан; Погодин же за гоголевский некролог попал под надзор полиции.

В первые годы нового царствования Александра II гнет цензуры несколько ослабевает — новый царь заигрывает с народом. И тотчас же появляется поэтическая жемчужина Жадовской, стихотворение, которое будут знать и любить многие поколения читателей.

Грустная картина,
Облаком густым
Вьется из овина
За деревней дым.

Незавидна местность:
Скудная земля,
Плоская окрестность,
Выжаты поля.

Все как бы в тумане,
Все как будто спит...
В худеньком кафтане
Мужичок стоит.

Головой качает, —
Умолот плохой, —
Думает-гадает:
Как-то быть зимой?

Так вся жизнь проходит
С горем пополам;
Так и смерть приходит,
С ней конец трудам.

Причастит больного
Деревенский поп,
Принесут сосновый
От соседа гроб.

Отпоют уныло...
И старуха мать
Долго над могилой
Будет причитать.

Чтобы написать такое стихотворение, нужно было хорошо знать деревню, не раз наблюдать подобные картины. Жадовская жила не в роскошных усадьбах, отгороженных парками от серых деревень с соломенными крышами, а в соседстве с этими бедняками. После ее смерти односельчане долго будут вспоминать маленькую худенькую женщину в неизменной складчатой блузе, накинутой на плечи и скрывавшей руки. Они не забудут ее участие и помощь.

В цикле стихов 1847—1856 годов встречаются такие, которые говорят, что поэтесса достаточно хорошо знает цену людям. Она без раздумий становится на сторону угнетенных и борцов за правду, призывает хранить чистоту помыслов. Такие стихи называли тогда «гражданскими»:

Среди бездушных и ничтожных
Рабов вседневной суеты
Храни от яда мнений ложных
Свой здравый ум и сердце ты.

Иши, что истинно и свято,
Лжи, искушений избегай
И гласу страждущего брата
Душою чуткою внимай.

Ее стих становится более совершенным, плавным, упругим. Перед нами словно бы акварельные пейзажи Ярославля тех лет. Вот раннее утро:

Отвори окно: уж солнце всходит,
И, бледнея, кроется луна.
И шумящий пароход отходит,
И сверкает быстрая волна.
Волга так раскинулась широко...

Но еще больше удаются Жадовской зарисовки скучных долгих вечеров. В стихотворении, которое так и называется «Скучный вечер», есть строки превосходные. Мы словно смотрим из темного окна на улицу. В доме мертвая тишина, приказ отца-старика выполняется неукоснительно. Работать, читать запрещено. Эх, хоть бы песня раздалась!

Нет, в окошко, темна, холодна,
Ночь угрюмая смотрит одна;-
Шумно сани порой проезжают,
Да у дома в потемках мерцают,
И лениво, и тускло горя,
Покривленные два фонаря.
С каждым часом минуты длиннее,
С каждым часом в душе холоднее.

Но наконец этот тягостный мрак рассеивается. Ибо возникает то, к чему жадно рвется душа.

Вот и песня... Спасибо тому,
Кто запел, невзирая на тьму, —
И не мыслит о том, не гадает,
Кто ему с наслаждением внимает.
Для себя одного он поет
И по улице дальше идет.

Последние две строки особо хороши. Они создают живой зрительный образ.

Очень высоко ценил поэзию Жадовской Н. А. Добролюбов. Он писал в 6-й книге журнала «Современник» за 1858 год, что стихи ее «не имеют внешних достоинств, резко бросающихся в глаза. Но мы, нимало не задумываясь, решаемся причислить книжку ее стихотворений к лучшим явлениям нашей поэтической литературы последнего времени.. Задушевность, полная искренность чувства и спокойная простота его выражения — вот главные достоинства стихотворений г-жи Жадовской».

Статья эта появилась без подписи автора, и лишь в 1862 году, уже после смерти Добролюбова, когда вышли его «Сочинения», Жадовская могла узнать, кто же так тепло отозвался о ее творчестве.

В этой статье Добролюбов приводил множество понравившихся ему стихотворений, а среди них ее «стихи сердца», такие, как «Не зови меня бесстрастной», «Никто из нас, никто не виноват». Но, конечно, он отдал предпочтение ее стихам гражданским — «Грустная картина», «Не святотатствуй, не греши». В частности, он целиком приводит стихотворение-исповедь Жадовской.

Нет, никогда поклонничеством низким
Я покровительства и славы не куплю,
И лести я ни дальним и ни близким
Из уст моих постыдно не пролью.
Пред тем, что я всегда глубоко презирала,
Пред чем порой дрожат достойные — увя! —
Пред знатью гордою, пред роскошью нахала
Я не склоню свободной головы.

Пройду своим путем хоть горестно, но честно.
Любя свою страну, любя родной народ,
И, может быть, к моей могиле неизвестной
Бедняк иль друг со вздохом подойдет.
На то, что скажет он, на то, о чем помыслит,
Я верно отзовусь бессмертною душой...
Нет, верьте, лживый свет не знает и не смыслит,
Какое счастье быть всегда самим собой!

Добролюбов писал, что если приятно восхищаться бархатом лугов и запахом черемухи молодой, если весело отдыхать под липою густою и смотреть, как облаками раскрасилась даль, или стоять неподвижно, в далекие звезды вглядясь, то отчего же не столь же хорошо прислушаться к внутренним движениям собственной души, передавать субъективную жизнь своего сердца? «Вам могут нравиться пейзажи, но это не мешает мне любить жанристов или портретную живопись. Что же касается до того, что талант г-жи Жадовской не в пейзажах — это, мы полагаем, успели уже заметить читатели даже из тех выписок, которые мы привели.

Но ведь у Жадовской много пейзажей, картин природы, не так ли? Конечно, так. И вот что говорил Добролюбов по этому поводу:

«Любовь к природе, наслаждения красотами ее вовсе не чужды таланту г-жи Жадовской. Но, если так можно выразиться, природа служит для нее только средством для возбуждения тех или других мыслей и воспоминаний. Возьмите любое стихотворение, — в каждом вы это заметите».

И вновь цитирует Добролюбов ее стихотворения, и вновь убеждается читатель, что действительно природа для Жадовской почти всегда служила лишь поводом передать свои мысли и чувства, а зачастую и думы о судьбе народа. Вот почему заканчивает он свою статью двумя самыми лучшими ее стихотворениями «Грустная картина» и «Нива моя, нива».

Если бы Жадовская написала только одну «Ниву», то уже это стихотворение вошло бы в хрестоматии. Составители их не всегда могли и не всегда решались включать безотрадно-обнаженную «Грустную картину», но «Нива» проходила. Между тем в этом стихотворении звучит такое страстное упование крестьянина на урожай, такая любовь его к земле, зависимость от нее, что внутренняя социальная «подкладка» произведения каждому ясна. «Нива моя, нива» стало классическим произведением русской поэзии, и кто не знает великолепных строк его:

Нива моя, нива,
Нива золотая,
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая.
По тебе от ветру,
Словно в синем море,
Волны так и ходят,
Ходят на просторе.
Над тобою с песней
Жаворонок вьется,
Над тобой и туча
Грозно пронесется.
Зреешь ты и спеешь,
Колос наливая,
О людских заботах
Ничего не зная.
Унеси ты, ветер,
Тучу грозовую,
Сбереги нам, боже,
Ниву трудовую.

...В 1860 году слабое от природы здоровье Юлии Валерьяновны расстроилось настолько, что по требованию врачей она едет на курорт Гапсаль (нынешний Хаапсалу в Эстонии). Здесь она познакомилась с Николаем Алексеевичем Некрасовым, которому еще раньше посвятила свое произведение: «Стих твой звучит неприятным страданием». Сохранились воспоминания, что поэт отнесся к Жадовской «с сочувствием». Там же,

в Гапсале, она встретилась со старым доктором, давним знакомым Карлом Богдановичем Севеном. Он сделал ей предложение. Жадовская приняла его, чтобы избавиться от тирании отца.

По возвращении в Ярославль она перестала писать стихи. А ее рассказы и повести («Женская история», «Отсталая» и др.), хотя и передают черты времени, отражают в какой-то степени революционно-демократические идеи 60-х годов, ратуют за освобождение женщины, по художественным качествам не могут идти в сравнение со стихами.

Что же с ней случилось, почему перестала она писать? По этому поводу были разные суждения (болезнь; наступившее якобы господство других направлений в литературе и т. п.). Думается, что дело здесь в ином. Стихи Жадовской как бы поглотила могучая поэзия Некрасова, писавшего, по существу, на те же темы, но несравнимо глубже. Его «муза гнева и печали» звучала столь громко, что голос Жадовской стал почти не слышен. Так, по крайней мере, казалось ей. Сама она, явившаяся до известной степени предшественницей Некрасова, горячо приветствовала появление его поэзии.

Однако несколько ее стихотворений, как уже говорилось, навсегда остались в отечественной литературе. Это и «Нива», и «Грустная картина», да и некоторые «интимные» стихи: «Я все еще его, безумная, люблю», «Ты скоро меня позабудешь» и другие. Последние два стихотворения стали широко известны — первое переложил на музыку Даргомыжский, второе — Глинка. Через всю жизнь пронесла Жадовская свою неудавшуюся любовь к Перевлесскому, и она наполняла и ее стихи, и ее прозу.

Юлия Валерьяновна умерла 23 июля 1883 года в усадьбе Толстиково Буйского уезда и похоронена в селе Воскресенье при большом стечении искренне скорбевших местных жителей.

ЖИВАЯ РЕЧЬ XVII ВЕКА

...язык, на котором говорили русские лет уже тысячу... которым писал письма Иван Грозный... митрополит Макарий и протопоп Аввакум... ничуть не умер, потому что он народный...

А. Н. Толстой

День угасал. Солнце спряталось куда-то за могучие стволы бронзовых сосен, особенно кряжистых и величавых здесь, на берегу Москвы-реки, у старинного села Уборы. О древности этого поселения свидетельствовал храм XVII столетия да известняковые надгробия с давно стершимися церковнославянскими надписями.

Я люблю этот уголок Подмосковья. Неподалеку от него Левитан писал последнюю свою картину «Летний вечер»: за околицей, за зубчатой линией леса догорает закат. Это прощальная вечерняя песня прекрасного художника, исполненная глубокого лирического настроения. Он славил мир и покой на родной земле...

И вот однажды, осенью 1944 года, я побывал в этом уголке. В тот тихий левитановский вечер, настоящий запахами сухого сена, я испытывал ни с чем не сравнимое чувство покоя, согретое верой в близкий победный исход войны.

Я уселся на крутой берег, а вокруг меня и подомной с писком перепархивало великое множество стрижей; на прибрежном откосе виднелись лунки, в которые они то и дело влетали.

Земля, впитавшая за день тепло, отдавала его воздуху, лиловеющему небу. В одиноких копнах сена немолчно звенел кузнечик.

По берегу мимо меня медленно прошел высокий, плотный человек, показавшийся мне знакомым. Был он одет в изящный темный костюм, в одной руке держал шляпу, в другой — палку.

Вот он остановился на мгновение и, оглядывая что-то, чуть повернулся в мою сторону. Массивная голова, лысеющий лоб, строгое выражение лица, внушающее невольное уважение... Да это же Алексей Николаевич Толстой!

Давно уже мне хотелось поговорить с ним. Но, рассуждал я, разве имеет право вот так, запросто, познакомиться с Алексеем Толстым неизвестный студент, мечтающий сделаться писателем. Послать же Толстому свои рукописи я не решался.

И вот случай. Но как им воспользоваться? Не догнать же писателя...

На мое счастье, Толстой сел на скамейку, о существовании которой я не знал.

Я растерянно медлил, но что-то подсказывало мне: знакомство состоится. Набрался храбрости и подошел.

— Здравствуйте, Алексей Николаевич!

Мне показалось, что Толстой вздрогнул от неожиданности. Так, наверно, и было.

Я смутился и потупился, а он осматривал меня строгим и недоумевающим, как мне казалось, взглядом.

Только внимательно оглядев меня, он привстал и тихо ответил: «Здравствуйте». А еще через мгновение я услышал такое же негромкое приглашение сесть.

Я сидел и молчал. Молчал и Толстой. И снова я стал внутренне ругать себя за нерешительность, а в то же время собирался с мыслями: что бы такое сказать, как начать?

Не знаю, понял ли Толстой мое состояние, но он заговорил. Как бы продолжал разговор сам с собой:

— Красота и тишина.словно и войны нет. А она ведь и сюда подступала. Жива, сохранена нами Родина!

И, помолчав немного, добавил:

— Вот и отходит к спокойному сну всего повидав-

шая на своем веку церковь. Когда видишь такие церкви, то понимаешь, как хорошо сказал Чапыгин о кремлевской стене, что она «вспоминает старину конца Бориса».

— Эта церковь, — чуть не вскрикнул я обрадованно, — построена зодчим из крепостных Бухвостовым в конце XVII столетия в стиле московского барокко. Тут находились многочисленные древнейшие поселения, раскопанные еще в 30-х годах прошлого века. Это были первые раскопки в Подмоскowie.

Нужно сказать, что обо всем этом я вычитал утром того же дня в каком-то справочнике. Впрочем, я тут же спохватился и пробормотал, что «Алексей Николаевич, видимо, все знает и без меня».

Толстой снисходительно улыбнулся, теперь уж явно в мой адрес.

— А вот и не знаю.

Ободренный, я взволнованной скороговоркой выложил все, что знал о здешней работе Левитана.

— А про Левитана все знаю. Но то, что вы говорите с таким жаром, мне нравится. Давайте познакомимся, хоть мы немножко уже и знакомы... раз знаете, кто я.

Много нового и ценного для меня сказал в тот незабываемый вечер писатель. Постараюсь воскресить часть его слов и мыслей. Хотя трудно передать все своеобразие и красоту толстовской речи.

Рассказав по его просьбе о себе, упомянув о своей мечте и некоторых опытах в историческом жанре, я, в свою очередь, наивно просил открыть мне секреты волшебного мастерства проникновения в прошлое, воссоздания прошедшей жизни.

— Мне не хотелось бы, — сказал Толстой, — сейчас говорить о «тайнах» мастерства, как вы или другие их называете. Говорить об этом уже надоело, да и

скучно. Никаких тайн, в сущности, нет. Любую тайну, обладая ею, можно сообщить, передать другому. А это не передать, нет. Есть чувство художника, умудренного опытом жизни. Это восприимчивость к окружающему, когда ты ощущаешь Родину, страну, поступь ее истории, ее движение в будущее. Тогда для тебя все становится органически целостным, а ощущение истории, если ты поистине любишь страну и народ, близким и доступным. Как бы видишь перед собой талантливо написанный живописцем эскиз исторического полотна, где есть и настроение, и ощущение эпохи, и композиция, и нет лишь четкости формы. Тогда и только тогда приступай к архивам, изучай факты. Говоря другими словами, в работе писателя нет противопоставления современной и исторической темы. Есть писатель, более или менее чуткий, более или менее талантливый. Я не говорю о своем скромном опыте. Но вспомните, что Лев Толстой один, по существу, раз подошел к минувшей эпохе, но пришел в нее как ее участник, мудрый и наблюдательный. Я не солидарен с писателями, пишущими лишь о временах ушедших. Это искусственная стилизация, упражнение на заданную тему, подделывание под образчик.

— А язык? Откуда вы черпаете живой язык отдаленного времени, до того ясный, что веришь: именно так люди и говорили? Мы ведь снова слышим эту умолкнувшую речь и видим этих людей.

— Между тем разговорный-то язык почти тот же. Да, да, не удивляйтесь так. Он очень медленно меняется за века. Именно разговорный язык, а не язык документов и тогдашних книжников, которые считали себя обязанными — их заставляла церковь — писать по-церковнославянски. Разговорную речь давно ушедших людей я черпаю из их писем и судебных дел, а выражаясь по-современному, из судебных протоколов. В них дьяки вынуждены были ради документальной точности пере-

давать подлинные слова ответчика или свидетеля. Что это за драгоценные камни, скажу я вам!

Да, конечно, эти алмазы нуждаются в некоторой огранке. Ведь и в алмазных копиях мы выбираем более крупные алмазы и не собираем пыль, мелкие блески.

Помните, как необыкновенно мудро сказал где-то Горький: чем ближе к натуре, тем лучше, а если совсем натура — не годится.

...В сгущающейся темноте прошел парень с девушкой. Он бережно держал ее за талию, и его пушистый льняной чуб еле заметно трепал ветерок. У девушки было милое круглое лицо, курносый нос. И, словно предупреждая то, что я хотел сказать ему о русском типе, Толстой продолжал:

— Приглядитесь-ка к лицам встречающихся вам людей и сравните их с портретами кисти Гольбейна, Гойи, наших Боровиковского и Левицкого, не говоря уже о Брюллове. Сегодня, например, в нашем санатории «Сосны» мне встретилась женщина — она работает на кухне, — прямо-таки сошедшая с портрета Дюрера. А ведь этот портрет, как утверждают искусствоведы, передает немецкий тип шестнадцатого века! Погляди-те на лица наших грузин, евреев. Постарайтесь отвлечься от их смуглости, и вы увидите у них черты, которые могут встретиться и у итальянца, и у русского, узбека, и даже человека монголоидной расы, если к нему внимательней присмотреться... Мы воюем с немцами, а мало ли из них таких же белобрых, как только что прошедший парень? В этом смысле, в смысле этнического типа, все люди давно уже братья, но не подумайте, что я призываю к сосуществованию с фашистами! Нет, уж раз затеяли войну, подняли меч — пусть от меча и погибнут. И вообще, какое же может быть сотрудничество с фашистами в области идеологии или художественного творчества? Горький это давно понимал, еще в так называемые мирные годы... А вот будет ли в такой же

священной ненависти к врагу хранить подрастающая советская молодежь наши резкие, непримиримые взгляды на жизнь, на искусство, на миссию художника? Она, эта молодежь будущего, которая уже не услышит плача голодных детей на пустынных и печальных дорогах войны...

...На небе одна за другой, дрожа и мерцая, загорались звезды. Одна из них скатилась. Писатель проследил за ней взглядом. Ее полет вызвал у него какие-то ассоциации.

— Вы читали, конечно, «Машину времени» Уэллса? Замечательное в своем роде произведение. Как вы помните, речь там идет о машине, с помощью которой можно попасть в отдаленное будущее. Замечательность этой книги в полной, если так можно выразиться, реалистичности ее утопии. Не сомневаюсь — скоро мы будем летать на другие планеты и возвращаться обратно. Вернемся, а на Земле пройдут сотни лет. А вот с прошлым, с возможностью бывать, скажем, в семнадцатом веке, науке и технике, пожалуй, не сладить. И все же это во все не значит, что мы не сможем вернуть себе то, что нам дорого. Тут уж дело наше и только наше — писательское, живописное, киношное. Вопрос, конечно, в том, что и как нужно воскрешать. Отбор должен быть строгим, труд упорным и вдохновенным, как, впрочем, и в каждом деле.

Алексей Николаевич встал. Даже при своей тучности и явной болезненности он не опирался на трость. Медленно ступая по тропе, он смотрел в сторону реки, уже почти невидной и лишь кое-где сореб্রившейся.

Наползали туманы. Резче и ощутимей становились запахи сена и сырости.

Я провожал Толстого по луговине к корпусам санатория «Сосны», легко возносившимся бледно-серой массой над старым руслом реки. Чем ближе мы подходи-

ли, тем сильнее становился, вытесняя ощущение сырости, ни с чем не сравнимый аромат выступающих из темноты сосен; глухо, но как-то тепло шумели их вершины.

На секунду какая-то вспышка осветила окрестность, но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы надолго запечатлеть в памяти удивительную красоту родной вечерней земли: изумрудно-светлые, переходящие в голубое берега, поля, овраги, засыпающие без огней деревней с черными силуэтами построек.

— На этой родной нашей земле, — произнес Толстой опять-таки простые, обычные, но полные значения слова, — и умирать не жалко. Вот только сделано все же маловато.

Уж если этот человек, написавший столько томов превосходных произведений, уж если он сделал мало, то что же другие?!

Я посмотрел на него с удивлением и растерянностью. Он, безусловно, понял мой вопрос.

— Не то что мало, а вот хорошего, по большому счету отличного недостаточно. Хотел бы, очень хотел бы закончить «Петра». Он только теперь распрямился, поднялся во весь рост. Понимаете: я подошел к такому периоду его жизни, когда вздыбивший, взбаламутивший Русь Петр пожинает первые плоды трудного своего подвига. Но пожинает не сложа руки, а радостно выпрямившись, напрягая все мускулы, готовый снова к битвам на благо России, ее будущего. Он чуть устал, упоенный победами. А обширная могучая страна, лежащая перед ним, стала собранней и ощущает, переживает величие его подвига. Лицо родной земли хорошеет, как бы наливается вешним соком... Люди уверовали: какие бы испытания ни ждали их впереди — нет и не может быть силы, могущей уничтожить выкованного Петром великого русского государства. В этом, в этом главное! Так пробудилось самосознание народа, и вот

в этом величие, значение избранной мной темы, в этой живая связь ее с нашими днями.

...На закате, как далекие отблески идущей там войны, запылали и погасли зарницы. И меня вдруг еще раз пронзило осознанное теперь чувство полной уверенности в очень близкое счастье Родины.

ТУФЛИ БОРИСА ГОДУНОВА

«Комсомольскому поэту А. Жарову. Дорогой товарищ, мы, члены и кандидаты РКСМ ячейки ст. Можайск, шлем тебе наш горячий коммунистический привет, как первому организатору нашей ячейки, объединившему под красным знаменем комсомола всю сознательную молодежь станции».

В дождливое сентябрьское утро 1920 года к зданию Можайского уездного комитета комсомола подошел долговязый босой детина в короткой не по росту, выдавшей виды шинели. Под навесом он долго и тщательно вытирал о половик огромные покрасневшие ступни.

У сторожихи, выметавшей груды окурков, спросил, где можно повидать секретаря. Босые пешеходы в тот нелегкий двадцатый год не были редкостью. Но сегодня даже непросыхающая лужа у почты подернулась ледком...

В здание укома подозрительного человека тетя Вера не пустила, а секретаря вызвала.

Перед секретарем, бойким темноголазым пареньком, предстал босоногий великан. Секретарь зорко оглядел гостя и представился:

— Александр Жаров.

Детина предъявил красную книжечку — мандат политинструктора губкома.

Наум — так звали инструктора — вскоре уже сидел в теплой каморке сторожихи, с наслаждением тянул из

блюдечка горячий и густой морковный чай, который ему наливала тетя Вера из белого пузатого чайника в голубых цветах. И рассказывал секретарю, управделу и тете Вере:

— Приехал я в Можайск навестить друга. Сошел с поезда. Случайно узнал, что около станции находятся бараки с красноармейскими частями, — завтра они едут на фронт. Не смог сдержать ораторский пыл и пошел держать напутственную речь. Принимали ребята горячо, но один ехидно заметил, что, мол, вместо «политремонта» лучше бы наладить им починку обуви — в худых лаптях бить белополяков несподручно... Ну, я ему и отдал сапоги.

Тетя Вера всплеснула руками, секретарь выразительно посмотрел на управдела.

— Да, вы еще незнакомы, — сказал Жаров. — Мой управдел — Денис Касьянович Миронов, сокращенно: Декамирон.

Молчаливо-угрюмый, с испитым, в оспинах лицом, Декамирон с укоризной взглянул на секретаря.

— Он тебя и обеспечит обувью. А пока знакомься с нашими протоколами да рассказывай, как там в Москве, в губкоме.

Часа через два Наум в присутствии Жарова и безмолвного Декамирона уже примерял ботинки в торговом ряду. Но увы!

Для всероссийских ног Наума
Он мал, уездный наш масштаб, —

сокрушенно-иронически резюмировал секретарь, как видно, нечуждый поэзии. И тут же перешел на прозу.

— Ну, Наум, можно жить на свете, когда рядом Декамирон. Будет тебе обувка первый сорт. Зашагали, брат, в школу. А оттуда как раз в Ямскую слободу.

Там наши комсомольцы проведут наглядную агитацию. Посмотришь, как работают, дашь указания.

В школе уже кончились занятия. В пустынных и гулких коридорах резко пахло карболкой. Только из зрительного зала доносился неразборчивый говор и грохот передвигаемых скамей. Как выяснилось, репетировали пьесу Мольера «Жеманницы».

Жаров вызвал руководителя спектакля, учителя литературы Николая Николаевича Фроловского и попросил разрешения выбрать в бутафорской что-нибудь подходящее «для всероссийских ног Наума».

Учитель вначале объявил ему строгий выговор за опоздание на репетицию, а про выдачу реквизита и слышать не хотел. Однако, увидав в окно уныло маячившую фигуру великана, сдался.

— Ну что ж. Вашему богатырю впору лишь туфли Бориса Годунова. Берите, но с отдачей.

Учитель оказался прав. Только огромные театральные туфли и подошли, зато чувствовал себя в них Наум отлично: ногам было мягко, тепло, просторно.

Вдоволь нахохотавшись, артисты, Наум и секретарь укома комсомола неприятным осенним вечером двинулись в подгородную слободу. А управдел повернул обратно, сказав Жарову, что надо подыскать Науму ночлег.

Шли мимо бесконечных, давно опустевших огородов с увядшей картофельной ботвой. Изредка встречались одинокие прохожие: еле перебирающийся через лужу инвалид на костылях или красноармеец, что возвращался из госпиталя в глухо застегнутой буденовке, в поддуваемой ветром шинелишке, с буханкой хлеба под мышкой.

Прихода «артистов» ждали с нетерпением. На избечитальне белело объявление: такого-то числа состоится спектакль, а весь доход от него пойдет на нужды детей бедняков. Ретивый местный художник, где-то увидав-

ший портрет Мольера в огромном завитом парике, старательно нарисовал под объявлением невообразимое звероподобное существо.

Однако плакат делал свое дело: прохожие невольно останавливались. Собралась не только молодежь, пришли и бородатые дяди; скептически-доброжелательно посмеивались да обильно дымили сигарками.

Что, казалось бы, этим людям за дело до каких-то французских жеманниц и галантных кавалеров XVII века? Но такова уж сила подлинного искусства! И старики и молодухи сидели не шелохнувшись. А парни, раз или два по ходу действия пустив по крепкому соленому слову, затихли.

Наум до сей поры ни в грош не ставил классику. Про себя он решил «пропесочить» можайского секретаря за безыдейщину на культфронте. Но сам того не замечая, с интересом следил за происходящим на сцене.

В перерыве Жаров спросил его, нравится ли спектакль. Наум признался:

— Здорово, братцы, вы это представили... — Но вдруг спохватился: — Я-то лично сроду не читал этого самого Мольера. Только на вашем месте я дал бы какое-нибудь идейное, близкое народу представление. Демьяна Бедного продекламировали бы, что ли...

— Стихами Демьяна мы иногда заканчиваем свои митинговые выступления, — сказал Жаров. — Это ты прав. Иногда так хочется вплести в речь какое-то яркое, огневое слово. В рифму, конечно.

— Присматриваюсь к тебе, брат Саша, и с огорчением вижу, что будешь ты рифмачом. А рифмачи нужны ли сейчас революции?

— А Демьян Бедный?

— Разве что Демьян... Так ведь он один.

— Ну, Наум, это разговор длинный. Впрочем, вот и антракт кончился.

По окончании спектакля публика, отбивая ладони, вызывала артистов. И успокоилась, лишь когда Жаров, успевший снять кружевные манжеты кавалера Лагранжа, поднялся на сцену и, поглядывая время от времени на Наума, прочитал «с выражением», как учил Фроловский, две басни Демьяна Бедного. Когда аплодисменты утихли, Жаров перешел к делу:

— Обувь для детей будет выдаваться в этом же помещении завтра в двенадцать часов. Необходима справка о бедняцком состоянии и о наличии в семье ребят восьми- и девятилетнего возраста. Все получившие обувь обязуются обеспечить явку детей в школу.

Когда стали расходиться, Жаров подошел к Науму.

— Вот так, дорогой товарищ инструктор губкома, решили бороться мы с неграмотностью и нищетой. Будут ли критические замечания?

Наум молча пожал ему руку.

Когда возвращались в город и подходили к Чугунному мосту, раздался вдруг дикий свист. Из темноты вынырнули какие-то фигуры. Жаров и двое артистов выхватили револьверы и шелкнули курками. Фигуры исчезли.

— У нас еще не совсем спокойно, — тихо сказал Жаров Науму. — В прошлом году в Карачаровской волости произошло белогвардейское восстание. Все наши комсомольцы поголовно состоят в частях особого назначения. Иногда после укомовских заседаний приходится вступать в схватку с подобными элементами.

Он указал револьвером в темноту.

Около укома их встретил Декамирон и предложил Науму ночевать в соседнем доме. Наум наотрез отказался. Отказался и от перины с одеялом, что заботливо принесла сторожиха тетя Вера в кабинет секретаря. Инструктор губкома самым серьезным образом

утверждал, что сны на столе под шинелью гораздо слаще.

На другой день он уезжал. Сыпался мелкий беспросветный дождь. Все в тех же туфлях, да еще под зонтом сторожихи, Наум, провожаемый комсомольцами, шел на вокзал.

На вокзале Наум провел беседу с частями, уезжавшими на фронт.

Через десять лет поэт Александр Жаров в одной из своих поэм писал о том, как выступал Наум и что было дальше.

— Товарищи, земля горит!
К стране крадутся волчьи лапы...
В горнило неизбежных битв —
Вперед, товарищи!
На запад!

Мы будем жить,
Когда пройдем,
Пройдем смерчем по свету,
Чтоб очистительным огнем
Преобразить планету!

Но тут... стремглав на стул вскочил...
Постой, постой... знакомый парень.
— Ты погоди-ка
Про смерчи
Да про планеты шпарить.

Ведешь нас на мирской пожар,
А я тебе замечу метко:
Какой ты, к черту, комиссар —
Без сапогов,
В гнилых баретках?

Ха-ха-ха-ха! Веселый гул.
И замешательство... и... браво.
— Я
Сапоги с него стянул
По несознательности — право.

Постой! Я их принес назад.
Бери, Наум. Прости, ей-богу:
Размер, брат, мне великоват...
Но я
Готов с тобой в дорогу!

— Ха-ха-ха-ха! — бушует зал...
— Ребята, в ногу с коммунистом! —
Но этот гул и смех прервал
Призыв
Спокойного горниста.

Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира?

Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихий восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души.

Н. В. Гоголь

В СТРАНЕ ИСКУССТВА



ПЕРМСКИЕ ЧУДЕСА

Несколько лет назад довелось мне побывать в Перми и посмотреть там в картинной галерее знаменитых «пермских богов». О них я слышал уже давно, но то, что увидел, вряд ли когда-нибудь забуду.

Прежде всего поражаешься искусству безвестных умельцев так обтесывать дерево и его раскрашивать, что это, пожалуй, превосходит иные работы мастеров по мрамору. Хотя, может быть, сравнивать одно с другим и не годится.

И вот стоят они в строгих музейных залах — Никола Можай и Параскева Пятница, Иоанн Богослов и Мария Магдалина, Христос и Лонгин Сотник. Стоят и словно разговаривают между собой, ведут неторопливую мужицкую беседу. Только один Христос, доставленный из церкви села Дмитриевского, присел на резной стул и сосредоточенно задумался, опершись на правую руку.

Откуда взялось такое редкостное мастерство? Безусловно, оно передавалось из поколения в поколение, ибо для того, чтобы создавать правдоподобную иллюзию живого тела, требовались и талант, и опыт, и вековая традиция.

Почему, задался я вопросом, такое искусство было присуще пермякам? По залам галереи я ходил с местным историком и искусствоведом Львом Федоровичем

Дьяконицыным, и на этот вопрос он ответил примерно так:

Еще в XIV веке монах Стефаний Пермский насаждал здесь христианство. Пермяки были идолопоклонниками и в великом множестве искусно вырезали своих истуканов, благо деревьев вокруг изобилие. Вот бы поглядеть нам хотя бы краешком глаза на это языческое великолепие — огромное множество пермских богов, перед которыми совершали жертвоприношения! Священники сладить с неумным творческим духом народа никак не могли.

На Руси уже давно сокрушили Перунов, Велесов и им подобных языческих богов, а поскольку древнерусские резные иконы-скульптуры чем-то походили на них, то духовные власти категорически запретили выставлять в церквах эти деревянные статуи. Исключение было сделано для очень немногих, например для Николы Можайского, якобы творившего в старину всевозможные чудеса. Не тронули и некоторые особо «святые» фигуры Параскевы Пятницы. Специальным указом от 1722 года все остальные иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода и сжигаться там.

Пермяки же, несмотря ни на что, продолжали создавать и почитать своих богов. Тогда русские церковники кое-что придумали. Пермским народным умельцам разрешили делать деревянную скульптуру, но только православных святых. Соскучившись по рукомеслу, которым вынуждены были заниматься тайком, где-нибудь в лесу, они с радостью стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоаннов Богословов, но особенно много Никол. Кто-то, очевидно, увидел в Можайске Николу и сильно удивился его необыкновенно узкому и длинному лицу и невидяще-выпуклым глазам.

Эти святые стали населять пермские церкви и часовни и пребывали там до Великого Октября, после че-

го местный краевед и ученый Н. Н. Серебрянников с помощью музейных работников перевез их из церквей и часовен в картинную галерею Перми.

Я знал, что удивительные эти творения крайне заинтересовали и Анатолия Васильевича Луначарского. Он посвятил им статью, которая была перепечатана во втором номере альманаха «Прометей» за 1967 год.

Луначарский писал, например, про знаменитого «Спасителя», находившегося в одной из часовен: когда за ним не наблюдали, тот якобы отправлялся по своим делам. Он даже изнашивал обувь, и верующие то и дело меняли ее. Такие же чудеса происходили с Николой Можаем из деревни Зеленяты. Церковный сторож на вопрос, куда и зачем уходит Никола, не задумавшись, отвечал:

— Ведь исть-то хочет, а дерево не заешь!

«Из Никол Можаяев, — писал А. В. Луначарский, — которые все необыкновенно характерны и любопытны, приводим почти загадочную фигуру из Покчи. Это положительно шедевр экспрессионистской скульптуры, имеющей в себе какую-то высокохудожественную манеру. Вся трактовка небольшой фигуры в строго падающих одеждах полна вкуса. Длинный меч в одной руке, церковь типа конца XVII века — в другой. Но самое замечательное — его голова, сверхъестественно удлиненная, странным типом которой поэт-скульптор хотел передать какую-то высокую психическую мощь. Статуя поражает именно изумительной уверенностью художества и полетом психологического воображения мастера».

Вдоволь насладившись «пермскими богами», мы с Дьяконицыным в одной из комнат запасника беседовали с миловидной, круглолицей сотрудницей музея, как видно, местной уроженкой.

— Конечно, пермские боги — вещь удивительная, ценнейшая достопримечательность нашего музея. Но они уже известны любителям искусства: «Прометей» перепечатал блистательную статью Луначарского, и мы тоже выпустили монографию на эту тему. А вот слыхали вы что-нибудь о сасанидском серебре?

— Слышать-то слышал, да, по правде сказать, точно не знаю, что это такое.

— Это одна из загадок истории. На территории нашей области, тогда еще Пермской губернии, на огромных землях заводчиков Строгановых, ставших потом графами, крестьяне находили в земле изумительные серебряные, а иногда и золотые блюда. Относятся они ко временам иранской династии Сасанидов, правившей с 224 по 651 год. Блюда имеют высокохудожественную чеканку со сценами придворной охоты и из мифологии. Историки предполагают, что блюда эти иранские купцы отдавали в обмен на всевозможную пушнину, которой особо славились наши края. Однако объяснить, почему только у нас находят эти уникальные предметы, довольно трудно. Можно высказать лишь предположение, что они были связаны как-то с ритуальными обрядами пермяков.

— Можно посмотреть эти предметы?

— Увы, к сожалению, у нас их нет. Как ценности особого материального значения, они были увезены в свое время в Эрмитаж. А кое-что и пропало, потому что до революции стало предметом «охоты» некоторых «любителей искусства». Но не огорчайтесь. Вы увидите у нас, если захотите, новое диковинное чудо, о котором мало кто знает.

...Небольшие металлические бляшки, бронзовые или медные, изображали то полуптиц, то полулюдей, то полулосей. Вот на странные согнувшиеся фигуры вроде бы накинута какие-то шкуры с головами, отдаленно напоминающие бобрины. Вот трехголовое существо

стоит на чудном продолговатом звере. Иногда бляшка воссоздает медвежью голову, иногда некоторое подобие коня. А вот просто круглая монголоидная голова, в которой угадываются черты женского лица; от него отходят пять других головок. Здесь же целая семейка неких уродцев, впрочем, это нам они кажутся уродцами! Малыш пляшет и скачет между отцом и матерью. Другой человечек тоже чему-то радуется: у него руки в боки, а по обе стороны колосья ржи. Праздник урожая?

Все вещицы, несмотря на бесконечное разнообразие сюжетов, словно озарены единым творческим вдохновением.

— К какому же времени относятся бляшки? — спросил я сотрудницу.

— На нашей пермской земле, — ответила она, — искусство это процветало примерно от второго века до нашей эры и до второго столетия нашей эры. Эти своеобразные уральские кентавры и грифоны, человек-олень, человек-птица, всевозможные идола были тесно связаны с религией наших предков.

— Если не ошибаюсь, бронзовые и даже золотые фигурки животных находят при раскопках и в других местах, например в курганах Украины. Но эти совсем другие по стилю?

— Верно. Впрочем, о «зверином стиле» нельзя говорить как о явлении только пермском. Зверей в меди, бронзе и даже серебре и золоте изображали ассирийцы и персы, египтяне и эллины, скифо-сарматы и сибирские племена. Но все же бронзовые идола и другие древности камской чуди очень своеобразны, неповторимы по сюжетам и художественным приемам. И это делает пермский «звериный стиль» явлением уникальным. Недаром он показан в экспозициях Эрмитажа и московского Исторического музея.

— Мне не совсем понятно назначение этих вещей. Если бы речь шла о жертвоприношении идолу...

— На этот вопрос постараюсь ответить я, — сказал Дьяконицын. — Полагаю, что зачастую бляшки служили украшениями одежды шаманов, колдунов, знахарей. Вместе с другими металлическими привесками они звенели, шумели, бренчали, и это усиливало «воздействие на больного» священных животных.

— Так что ж, это искусство давно умерло? — спросил я.

— Не скажите, — заметила собеседница. — Постепенно, когда ушли из людских верований звериные боги, народное искусство стало служить целям чисто декоративным, а звериные орнаменты превращались в стилизованные геометрические. Взгляните-ка сюда.

И она указала на ту часть готовящейся экспозиции, где были представлены образцы современной деревянной резьбы.

— Чувствуете в этих изделиях отзвуки «звериного стиля?» Изображения коньков на крышах домов в северных районах Коми продолжают украшать избы. Правда, их становится все меньше — дерево недолговечно. Считалось, что и конек на крыше, и фигурки на шестах охраняют от бед и дурного глаза. И сейчас еще почти в каждом коми-пермяцком доме встречается деревянная солонка в виде утки, а на крышке ее до пяти утят.

Она обратила мое внимание и на ткани.

— Согласитесь, что не случайно этот узор называется «медвежья лапа», этот «лисий» или «сорочий» шаг, а этот «бараний» или «олений» рог. Вы встретите звериный орнамент и на вязаных варежках и чулках.

— Мы вряд ли когда-нибудь поймем, что выражали эти замечательнейшие бляшки, не правда ли? — спросил я.

— А может быть, кое-что и узнаем, — загадочно сказала сотрудница. — Вы читали книжку Владимира Владимировича Чарнолуцкого о его путешествии к лопарям на Кольский полуостров?

— Так то ж Кольский полуостров!

— А все-таки просмотрите ее. Но верните поскорей, у нас единственный экземпляр.

В гостинице я накинудся на книжку Чарнолуцкого и какие же поразительные вещи нашел там!

Книжка издана Академией наук в 1965 году и называется «Легенда об олене-человеке». На обложке ее нарисованы три фигуры. Мерным, как бы танцующим шагом проходят куда-то трехпалые диковинные существа, на головах их вторые головы — олени. Это напоминало некоторые пермские бляшки.

Автор описывал свое путешествие в 1927 году к Белому морю, а точнее, к лопарям, живущим на Кольском полуострове. Он должен был изучать оленеводство и хозяйственный быт лопарей, а не фольклор. Но его увлекла одна очень распространенная там легенда о человеке-олене. Она рассказывает о том, как мальчик перевоплощается в олененка и вслед за отцом, тоже превратившимся в оленя, убегает от матери в тундру. Человека-оленя называли Мяндаш, а его сына — Мяндаш-парнь.

Каково же было изумление В. Чарнолуцкого, когда в январе 1928 года, побывав в ленинградском Эрмитаже, он в отделе археологии наткнулся на древнюю пермскую бляшку с изображением Мяндаша. Но ведь неведомый художник-литейщик жил в тысяче с лишним километров от кольских лопарей!

В плохо освещенном помещении В. Чарнолусский то-ропливо сделал зарисовку бляшки. Однако заняться детальным изучением этого вопроса в те годы ему не удалось.

Уже после войны ему довелось снова побывать в Эрмитаже и в спокойной обстановке обстоятельно осмотреть бляшки. И вновь удивление и радость! Еще несколько бляшек как бы иллюстрировали отдельные мотивы легенды о Мяндаше. По-видимому, на заре нашей эры между рекой Камой и Кольским полуостровом существовали какие-то связи, решил исследовать.

Еще в конце прошлого столетия известный историк-археолог А. А. Спицын издал атлас «Шаманские изображения», в который включил 430 зарисовок и фотографий пермского звериного стиля. Изучив альбом, В. Чарнолусский выделил около 110 изображений, связанных с легендами о Мяндаше. А. А. Спицын предлагал бляшки называть по-монгольски: «сульде», что означает — счастье, благословение, домашние боги, гении-хранители*. Ученый подчеркивал, что бляшка служила амулетом. А вот какие эпизоды легенды о Мяндаше нашел Чарнолусский воплощенными в пермской сульде: «Мяндаш-дева и сын ее Мяндаш», «Дочь человеческая», «Мяндаш-парнь», «Небесного человека отродье», «Волна», «Руки на коленях», «Песня», «Пояс» и многие другие. Бляшку с прыгающим маленьким человечком он назвал так: «Семья». Бляшка с изображением неких существ, стоящих на неведомом звере, есть не что иное, как «Мяндаш» и «Мяндаш-парнь». Они идут по длинному телу хозяина моря. Вариант: Мяндаш-парни идут

* По мнению некоторых знатоков Сибири, это название малоудачно, поскольку Монголия к этим предметам не имеет никакого отношения.

вправо, а посредине могучий длинноносый человек — сам Мяндаш.

Исследователь, присмотревшись внимательнее к сульде, делает вывод, что в некоторых можно проследить повторяющуюся ритмичность фигур, а также и некоторую нарочитость, свойственную орнаменту. «И ряд других бляшек стилизован и целиком состоит из определенных элементов, создающих орнамент. Постепенно художники начинают изображать сульде все более условно, они украшают ими пластинки, которые простые люди используют как амулеты, а служители культа — в качестве магических знаков».

К сожалению, В. Чарнолусский не касался в своей книжке вопроса, каким же таинственным образом легенда кольских лопарей о Мяндаше была известна коми-пермякам. Ведь тысячи верст разделяли эти народы... За разъяснением я обратился к сотруднице картинной галереи, возвращая ей через день книжку.

— О! Эта проблема не разрешена до сих пор. Впрочем, если бы таинственное происхождение бляшек-сульде уже расшифровали, то некий ореол их загадочности потускнел бы, не правда ли? Одно ясно: хотя далеко не все они связаны с Мяндашем, но все чудского происхождения. А вот что из себя представлял этот исчезнувший народ «чудь», где жил, куда делся, — над этими проблемами все еще бьются ученые.

Я пошел в областную библиотеку и, порывшись в каталоге, заказал книги и статьи о чуди. А пока достал с полки Толковый словарь Владимира Даля и вот что в нем прочел:

«Чудь (т. е. странный и чужой) народ-дикарь, живший, по преданию, в Сибири и оставивший по себе одну лишь память в буграх (курганах, могилах); испугавшись Ермака и внезапно явившейся с ним белой березы,

признака власти белого царя, чужь или чудаки... вырыли подкопы, ушли туда со всем добром, подрубили стойки и погибли. Чужь, вообще чудское, финское племя, особенно восточное... Чужь белоглазая! Чужь в землю ушла! Чужь живьем закопалась, чужь под землей пропала!»

Увы, из книг и статей я тоже ничего не мог узнать о судьбе чуди. До сих пор понятие это окружено дымкой таинственности. Некоторые из исследователей склоняются к тому мнению, что именем чуди народ русский, как об этом говорит и Даль, называл всю совокупность сибирских народов, оттесненных в давние времена царскими войсками в непроходимые топи и болота севера. Это были, в частности, предки нынешних коми-пермяков. Можно предположить, что какая-то их часть еще в незапамятные времена ушла с Северного Урала и Прикамья (где существовал культ Мяндаша, человека-оленья или человека-лося и где в честь его создавались сульде) на далекий север и северо-запад. Перебравшись через Белое море, эти народы поселились на малодоступном тогда Кольском полуострове. Их далекие потомки и есть современные лопари; потому-то старики и вспоминают Мяндаша и передают из поколения в поколение сказания о нем. А бляшки выразительно иллюстрируют сказания их прадедов с Прикамья. Конечно, миграция — переселение народов — захватывала широкие пространства. Не поможет ли тут топонимика — наука, объясняющая происхождение географических названий? Ведь не в каких-нибудь других местах, а именно в северных и северо-западных районах, то есть на перепутьях этого движения, находится и Чудское озеро, и город Чудово.

И вот пока я так рассуждал, произошло новое «пермское чудо». В витрине новых поступлений библиотеки я увидел большеформатную книгу «Пера — богатырь с берегов Лупви». Привлекало ее оформление. Взяв

книгу с полки, я прочел на титульном листе: «Повесть В. Муравьева по мотивам фольклора народов коми». И вновь увидел... знакомые бляшки, точнее, рисунки на темы сульде, — их талантливо выполнил пермский художник А. П. Зырянов.

Я разыскал Александра Петровича. Он смугл, черноволос, с узким разрезом глаз на несколько продолговатом, отнюдь не монголоидном лице. Считает себя коми и очень интересуется искусством предков, высоко ценит его за лаконизм и выразительность.

— Может быть, на взгляд некоторых читателей, — говорит Зырянов, — бляшки не имеют непосредственного отношения к этой повести. Но другой, более вдумчивый и знающий, почувствует органическую сращенность их с образами природы «Пера-богатыря». Наши предки видели живую душу во всех проявлениях природы, умели общаться с ней более тесно, чем мы, хотя временами и побаивались ее. Думая об иллюстрировании повести о Пере, я решил, что творческое переосмысление удивительных по мастерству и по своеобразию мировидения бляшек чудских литейщиков будет вполне оправданным. Кстати, среди художников Перми звериным стилем увлекаются и другие. Вот эта бляшка так понравилась нашему талантливому скульптору Екубенко, что он выполняет по мотивам ее огромную чеканку — декоративное украшение одного из зданий города.

Я долго любовался рисунком бляшки, уже знакомой мне по музею: круглое женское лицо с диадемой и чепец отходящими от нее девичьими головами.

— Наши мастерицы, — продолжал Зырянов, — с успехом выполняют в чудских традициях художественно-бытовые вещи, ковры, полотенца, скатерти. Увлекается этими мотивами и способная пермская керамистка Р. Шевякова — она придумала что-то оригинальное... Вот если бы наши организации вроде

Ювелирторга были более инициативны, сколько изумительных изделий мы стали бы изготавливать по этим красивым образцам и необыкновенным сюжетам... Кстати, слышали вы что-нибудь о Золотой бабе?.. Слыхали? Так вот, мы с Екубенко думаем, не ее ли изображала сульда с диадемой? Хотя некоторые музейные работники и склонны считать этот женский лик с девичьими головками божеством Камы с пятью ее притоками... Ну, я вижу, все это вас заинтересовало. Если это так, советую обратиться к нашему старейшему журналисту Борису Никандровичу Назаровскому.

На окраине города в доме-новостройке дверь открыл очень высокий и худой человек с небольшой седеющей светло-русой бородкой. Он сказал, что совсем нездоров. Извинившись, я уже хотел уйти, но он все же спросил о цели моего прихода. И когда я ответил, сразу оживился.

— Я, правда, не специалист, а всего лишь бывалый человек. Но кое-что могу, пожалуй, рассказать и о Золотой бабе. Вы пейте пока чай, а я пороюсь в своих записях.

Минут через десять, вооруженный пожелтевшими выписками, Назаровский начал:

— Здесь у меня выдержка из послания митрополита Симона от 1510 года. В нем говорится, что пермяки поклонялись Золотой бабе. А известный путешественник Герберштейн далее указывает место: правый берег Оби. Обратите особое внимание на чрезвычайно интересные, по моему мнению, слова Герберштейна:

«Там (т. е. около Золотой бабы) поставлены какие-то инструменты, издающие постоянный звук, вроде трубного».

Назаровский отхлебнул черного чаю и продолжал:

— Известно ли вам, что ценнейшие сведения о нашем севере, хотя и полуполюгендарного свойства, хранят-

ся в норвежских сагах? Вот поистине ценный кладезь для филологов, историков, романтиков! Так вот, одна из саг рассказывает, что норвежцы-разбойники Тотер и Карл — а дело было в XI веке — решили ограбить некий истукан Иомалу близ города Кельмкар. Вам ничего не говорит это название, Кельмкар?

— Холмогоры?

— Верно! Но особенно замечательно, что в этой норвежской, а некоторые историки называют ее даже мурманской, саге, — говорится, что разбойники испугались страшного шума и треска, исходящего от истукана, и без оглядки бросились наутек. Опять этот шум и треск! Но ведь Золотая баба Герберштейна стояла не в Холмогорах, а на Оби! Впрочем, мы еще вернемся к вопросу о шуме и местоположении божества. А теперь порассуждаем, что такое истукан Иомала.

Я смотрел на Бориса Никандровича и думал о том, где и как он мог приобрести такие уникальные знания. А он, как бы прочитав мою мысль, заметил:

— Чем только не приходилось мне как газетчику заниматься на своем веку... И на бытовые темы писал, и на хозяйственные, всякие там фельетоны о склочниках... Но рад, что некоторые записки и наблюдения иного рода хоть кому-нибудь пригодятся. Сам-то я вряд ли уже успею что-либо опубликовать на интересующую вас тему... Итак, что же такое истукан Иомала? Вы не знаете зырянского языка? То-то и видно, а то сразу догадались бы. Когда старик зырянин сердится на свою жену, обязательно выругается: «Иома-баба кадь льок». Что означает «зла, как Иома-баба». Я почти уверен, что Иома-баба и есть Иомала — Золотая баба... А теперь давайте взглянем хотя бы мельком на нее. К огромному для нас огорчению, ее темный лик норвежские «путешественники» как следует не рассмотрели, саги чаще описывают то, что больше всего привлекало грабителей:

«Наружность храма была обложена золотом и алмазами, которые освещали всю окрестность. На истукане было ожерелье в несколько фунтов золота, венец на голове осыпан драгоценными камнями, на коленях стояла золотая чаша такой величины, что четверо богатырей могли утолить из нее жажду. Ценность его одежды превышает богатейший груз трех кораблей, плавающих по морю греческому».

Но вернемся все же, — продолжал Назаровский, — к вопросу о местопребывании, если так можно выразиться, царского двора Золотой бабы. Холмогоры или Обь? А может быть, все-таки у нас, на Пермской земле? Ведь в «Житии преподобного Трифона Вятского» прямо говорится, что местонахождение главной кумирни было «кладбище остяцкое или жертвище идольское», так называемое Гляденовское городище на берегу Камы, ниже Перми, «куда, — читаю отрывок из жития, — от всех стран и с рек, и с Печоры и с Силвы и с Обвы и с Тулвы князи их и с ними мнози языцы со всеми своими улусы ту воедино место съезжахуся». Здесь стояло «идолжертвенное древо, глаголемое ель». Исполинское древо было видно с реки Камы: «бе бо величайше прочих древес, толстота бо его бе кругом полтрети сажени, а ветвие его в длину по четыре сажени и вящще».

Как же реагировал на такое диковинное зрелище Трифон, верный соратник Стефания Пермского? Ведь церковники не стали бы впоследствии его канонизировать, если бы он нарушил четко данную ему инструкцию. И вот его отчет: «Утварь бесовскую, я же бысть на том древе, приносимую нечестивыми, серебро и злато, шелк и ширинки, и кожи и все тое с деревом пожег и попалил».

Что же, Гляденовское городище — третье местонахождение двора Золотой бабы. Не сомневайтесь, есть и другие указания мест. Прочитайте книжку нашего

уральского писателя Юрия Курочкина «Легенда о Золотой бабе». Вряд ли ошибусь, назвав эту книжку удачным примером сочетания детективно-приключенческого и научно-познавательного жанра. В этой книжке Ю. Курочкин, ссылаясь на документы, называет еще несколько становищ Золотой бабы. Но разве следует отсюда тот вывод, к которому склонен подвести автор, — что ее не существовало? Безусловно, была такая Золотая баба. И я убежден, их было немало. В этом все дело! Наличием целого ряда идолов (а каждый жрец считал, что именно в его округе и находился главный золотой истукан) и объясняются расхождения в указаниях мест.

Кстати, знаете ли вы, что такое сасанидское серебро?

Я был рад хоть на один вопрос ответить уверенно.

— Тогда припомним житие Трифона и гигантскую ель. А ее утварь бесовская, серебро и злато, да ведь это и есть сасанидские блюда! Ими была увешана вся ель, как и священные деревья или столбы, как золотые бабы в Холмогорах и на Оби. При порывах ветра они звенели и гремели. А в дни празднеств жрецы громко стучали в блюда, усиливая невыносимый для уха иноземцев шум, гром и звон. Для таких «спектаклей» — а им сопутствовали и жертвоприношения — нашим пращурам требовалось огромное количество сасанидских блюд. Чтобы их заполучить, они, конечно, не скупились, щедро оплачивая этот полюбившийся им товар соболями, медведями, словом, пушниной и мехами. Вот почему эти блюда находили в больших количествах и только на нашей пермской земле... Что же касается деревянных истуканов, они почти все исчезли, но еще в конце прошлого и начале нынешнего столетия их кое-где видели. Если бы отнеслись к ним с должным вниманием, хоть они уже и не были покрыты драгоценностями

ми! Один из них, судя по каталогу, хранился в бывшем Румянцевском музее в Москве, и надо бы проследить, куда его передали после революции. Это, повторяю, довольно примитивное и малоинтересное, точнее, малоэффектное изделие — простой чурбан, скорее чурка с примитивными наметками органов тела.

А что касается бляшек-сульде, то это огромный мир забытой культуры таинственной чуди. Вот мы говорили о Мяндаше. Это только один, правда, самый распространенный сюжет древнего искусства. Человек-олень кольских лопарей и человек-лось — пермской чуди — как бы две ипостаси этих своеобразнейших, ни на какие другие не похожих верований наших далеких предков. Вы обратили внимание, что в бляшках отразился и культ древнего грозного божества, человека-медведя, бывшего хозяина мест здешних? На таких бляшках всегда изображается медвежья голова и когти — символ особой силы. Художник Александр Зырянов хорошо чувствует этот мир. Он талантливо проиллюстрировал книгу о Пере-богатыре и выпускает альбом «Чудские древности Урала».

Итак, мы знаем о человеке-олене, понятен нам и человек-медведь, а вот что такое человек-птица, на крыльях которого по четыре головы лоса, или другая бляшка — человек-птица с человеческим лицом и даже усами?.. Не знаете? И я не знаю... Какой же это был совершенно особенный огромный мир представлений, сколько в нем было своеобразнейшей красоты и поэзии! Я оптимист и надеюсь, мы со временем в него проникнем... Нет, что ни говорите, а я думаю, хотя это, кажется, несколько расходится с современной точкой зрения, что существовало некогда такое огромное сибирское царство — Биармия... Не настаиваю на точности произнесения этого названия, но ведь в каких-то старинных источниках оно упомянуто. И еще раз, повторяю, я горячо надеюсь, что со временем пытливый

ум человеческий проникнет и в это заповедное царство древних, раскроет всю его величественную красоту.

...Я решил отдать этот очерк для проверки моему давнему знакомому Виктору Григорьевичу Уткову, писателю и большому знатоку Сибири. И хорошо сделал, потому что он внес необходимые уточнения и посоветовал ввести одну важную выдержку из трудов известного русского историка Василия Никитича Татищева (1686—1750). По поручению Петра I Татищев несколько лет провел на Урале, основывал там железоделательные заводы. Урал и Сибирь, их прошлое, настоящее и будущее особенно интересовали Татищева. Когда на немецком языке вышла книга шведского ученого Страленберга о северо-восточной России, Татищев комментировал ее и, в частности, писал по поводу Бирмии:

«Это не теперешняя Пермия, но страна, которая в древние времена лежала около Ладожского озера, как явствует из Олая Магнуса и Саксона Грамматика, которые оба сообщают, что шведы и датчане приходили до того места, следственно, на реке Каме оно быть не может».

Но только ли свое имя сохранили пермяки? Они перенесли, добавлю я, на Кольский полуостров чудесный мир своих сказаний, когда-то запечатленный ими в удивительных бляшках.

КАПРИЗ ИМПЕРАТРИЦЫ

Вы едете поездом из Москвы в сторону Подольска. Слева появляется какое-то причудливое сооружение, напоминающее руины средневекового замка. Но откуда им тут взяться? А это знаменитый недостроенный дворец в подмосковном Царицыне! Впрочем, теперь здесь уже Москва.

Особенно прекрасны громады дворца синим летним вечером, когда серебристые звезды рассыпаны по небу. Впрочем, дореволюционный исследователь Юрий Шамурин считал, что царицынский дворец, парк и пруды наиболее красивы в ветреную лунную ночь, в осеннюю бурю или в зимний мрак. «Тогда воскресают видения баллад Жуковского и немецких романтиков, — писал он. — Закованные рыцари и печальные красавицы, седобородые короли, стройные и злые шуты чудятся за мертвыми стенами».

Удивительно ли, что безмолвный, стоящий без крыши дворец, разбросанные по древнему, заглохшему парку каменные беседки, затейливый фигурный мост — все это породило легенды и предания. И прежде всего легенду, стремящуюся объяснить, почему дворец оказался заброшенным.

Екатерине II, по наиболее распространенной версии, показался этот дворец похожим на огромный катафалк, и она повелела его разрушить. Архитектор сошел с ума и повесился на старой березе тут же в парке.

А теперь предоставим слово истории — мемуарам и документам. Речь идет о том знаменательном дне 1785 года, когда Екатерина II соизволила осмотреть дворец, заверченный великим зодчим Баженовым после неустанных десятилетних трудов. Очевидец события сенатор И. И. Козлов вспоминал:

«Назначен день для обозрения зданий, и с отличным благоволением приказано Баженову представить там жену и детей. Дворец не понравился; государыня, в гнев возвращаясь к экипажам, приказывает начальнику Кремлевской экспедиции Михаилу Михайловичу Измайлову сломать оный до основания».

Наряду с записками сенатора Козлова и другими свидетельствами очевидцев, существует еще один, чрезвычайно любопытный документ, касающийся царицынской трагедии 1785 года. Это собственноручное письмо Екатерины к барону Гримму. В нем императрица писала о себе в третьем лице:

«...никогда несчастье не бывает одиноким; утверждают, что новые известия, пришедшие из Петербурга и полученные ее величеством при въезде в Царицын, очень встревожили императрицу. Она не нашла нужным сообщить об этом кому-либо из лиц своей свиты и очень ловко придумала возражения против постройки дворца. Своды ей показались слишком тяжелыми, комнаты слишком низкими, будуары слишком тесными, залы темными, лестницы узкими, и так как деньги редки, а хлеб дорог, она очень пожалела о той сумме, которая была затрачена на постройку дворца. Потом она пустилась по окольным лесным дорогам по направлению снова к Коломенскому и с большой поспешностью закончила свои дела для внезапного отъезда из Москвы».

Со всеми этими разнообразными свидетельствами, воспоминаниями и письмами встретился писатель Анатолий Шишко (ныне покойный), когда начал писать повесть о Баженове «Каменных дел мастер». Его особое внимание привлекло только что приведенное письмо Екатерины. Он установил, что «несчастье», которое, как она упомянула, «не бывает одиноким», это, во-первых, волна народного гнева, охватившего Россию, в частности Подмоскovie, после обнародования 21 апреля того же, 1785 года так называемой жалованной гра-

моты дворянству. Гнев, охвативший народ, который почувствовал себя окончательно закабаленным помещиками, был настолько велик, что заставил Екатерину, остановившуюся в Петровском дворце, переехать в Кремль, а потом даже в хорошо укрепленное Коломенское, где в свое время спасались в подобных случаях русские цари. Что же касается встревоживших ее известий из Петербурга, то они, безусловно, касались масонов, членов тайного мистического общества, группировавшихся вокруг сына Екатерина II — Павла. Екатерина, занявшая престол убитого заговорщиками Петра III, считала и масонов способными на царевбийство.

О каком же прекращении постройки дворца могла быть речь, когда он уже был завершен Баженовым? Но одна ложь рождала другую. А. Шишко в повести «Каменных дел мастер» высказал интересную гипотезу по поводу того, что же вызвало гнев Екатерины и ее решение уничтожить дворец:

«Все тронулись дальше. За столетними дубами, могуче раскинувшими свои широколиственные ветви, показалась крыша царицынских дворцов-павильонов. Екатерина остановилась, брови ее удивленно приподнялись. Все замерли. С минуту императрица рассматривала дворец: как это осмелились украсить его орнаментом, повторяющим мотив треугольника — ненавистную ей эмблему масонства».

Окончательно решить загадку веков выпало на долю историка архитектуры, профессора М. А. Ильина.

Незадолго до Великой Отечественной войны ему довелось поехать в Ленинград и зайти к искусствоведу Герману Германовичу Гримму, по странной случайности однофамильцу барона, которому писала Екатерина. Гримм рассказал, что среди эрмитажной коллекции чертежей ему попала серия карандашных планов ка-

ких-то зданий, относящихся, по-видимому, к баженовскому кругу.

— На типичной для восемнадцатого века бумаге-верже, — рассказывает Михаил Андреевич Ильин, — были набросаны планы необычных сооружений: то залы овальной формы, расположенные веерообразно, то небольшие комнаты в форме крестов, то здания, поражавшие прихотливостью своего контура с многочисленными выступающими частями... Великолепные по фантазии рисунки! То были, несомненно, рисунки Баженова для Царицына.

Ильин посоветовал Гримму сделать публикацию, но тот ответил, что занимается лишь проблемами петербургского зодчества, и разрешил использовать коллеге-москвичу это открытие. Гримм тут же предложил ему написать заявление о фотографировании рисунков, обещал проследить за скорым исполнением и высылкой этой работы на московский адрес Ильина. Михаил Андреевич был покорен дружеской щедростью ученого.

Вскоре он получил отличные снимки и отправился с ними в Музей архитектуры, где находится знаменитая собственноручная баженовская панорама Царицына, выполненная им в декабре 1776 года. Тут возникает вопрос: зачем нужен был чертеж, если все имелось на панораме? В том-то и дело, что дворец на панораме никак не просматривался. В конце концов М. А. Ильин правильно решил, что панорама была перспективной, она изображала едва ли не первую мысль зодчего, и потому многое из намеченного так и не было построено. И тем не менее примириться с мыслью о том, что на панораме отсутствует дворец, было трудно.

Ильину все же не терпелось сличить полученные рисунки с панорамой. В конце концов он нашел на чертежах и на панораме изображение некоторых осуществленных Баженовым построек. Он пришел к выводу, что великий зодчий задумал Царицыно как загородную

резиденцию. Внимание Михаила Андреевича привлекли два листка с чертежами.

— Под номерами 1 и 3, 2 и 4, — рассказывает он, — значились планы парных зданий, поставленных Баженовым на определенном расстоянии друг от друга. На первом листке значилось «Нижней. Ея величество» и «Нижней. Их высочества», а на втором — «Верхней. Ея величества» и «Верхней. Их высочества». Значит, Баженов построил не один дворец, а два сравнительно небольших павильона! Что же, это соответствовало всему замыслу увеселительной подмосковной. Один павильон предназначался для Екатерины, другой, точно такой же, — для ее сына, наследника престола Павла и его жены Марии Федоровны.

Но ведь и на панораме есть один из этих павильонов с куполом, бельведером и шпилем. А где же другой? Ильин, опытный историк архитектуры, быстро понял, что зодчему и не нужно было на панораме-схеме изображать оба павильона. Второй дворец-павильон стоял в одну линию с дворцом Екатерины, но потому, что был заслонен первым, он не изображался. Так вот в чем разгадка тайны веков, так вот в чем причина дикой прихоти императрицы, стойившей жизни двум баженовским творениям!

— Здесь от архитектуры следовало перейти к истории, — рассказывает Михаил Андреевич. — А история нам говорит, что ко времени посещения императрицей Царицына ее отношения с сыном обострились настолько, что она подумывала: уж не лишить ли его престола и объявить наследником своего внука Александра. Но Баженов за десять лет при всем желании не смог бы, выражаясь по-современному, оперативно отреагировать на эти замыслы: строительство велось медленно. Когда же Екатерина увидела в Царицыне парные павильоны, она как бы почувствовала себя уравненной в правах с ненавистным сыном. И тут же отдала варвар-

ский приказ уничтожить павильоны до основания, архитектора от дел отстранить, поручить возведение дворца другому зодчему. К чести Казакова нужно сказать, что он все же сохранил сам дух баженовских сооружений, и потому, думается, не правы те исследователи, которые утверждают обратное*.

Дальнейшая судьба казаковского дворца известна: Екатерина потеряла к нему интерес, не считала возможным расходовать средства на его завершение, и он по сей день остался красноречивым доказательством ее лицемерия.

Каково же будущее этой подлинной жемчужины русской архитектуры и окружающих ее сооружений, часть которых создана Баженовым, другие — Казаковым и его учениками — И. В. Еготовым и, возможно, Е. Д. Тюриным? Не так давно принято решение о передаче всей территории Царицынского дворца и всех прилегающих к нему построек Московскому художественному институту имени В. И. Сурикова. Реставрация всех помещений будет осуществляться под наблюдением Академии художеств СССР. В основе плана реставрации — проекты Баженова и Казакова.

Хочу закончить этот очерк обращением доктора архитектуры Михаила Андреевича Ильина к студентам института имени В. И. Сурикова:

— Дорогие друзья! В недалеком будущем вы получите в свое владение уникальный ансамбль русского зодчества, построенный Баженовым, Казаковым и их учениками. Берегите его! Будьте достойны наших предшественников и приумножайте их славу!

* «До недавнего времени полагали, что Казаков сохранил от баженовской постройки не только фундамент, но и цоколь, и даже нижнюю часть кирпичных стен. Но недавно найденные материалы показывают, что он ничего не оставил от постройки своего предшественника». Так написано в сборнике «Подмосковье» (М., 1962).

ЗАМОК ЧАРОДЕЯ

Военный специалист Борис Афанасьевич Вилинбахов в одной из библиотек читал старинную русскую книгу. Внимание его привлекли карандашные записи на широких полях книги. Они предлагали необычайно интересное, совершенно новаторское решение задач по баллистике — науке о полетах снарядов.

Но кто же автор этих записей? На обороте массивного переплета был наклеен пышный геральдический экслибрис. Вилинбахов, будучи знатоком книжных знаков, сразу установил, что экслибрис принадлежал Якову Вилиму Брюсу, знаменитому сподвижнику Петра I. Вскоре Вилинбахову удалось увидеть одну из рукописей Брюса, и он установил тождество почерков в рукописи и пометок в книге.

В воображении ученого невольно возникла картина Полтавского боя, так ярко изображенного Пушкиным. Ведь именно Брюс командовал артиллерией. Да и сам метко разил врага из пушек. В бою, держась бок о бок, храбро сражались все — и солдаты, и царь, и офицеры.

Сии птенцы гнезда Петрова —
В премежах жребия земного.
В трудах державства и войны —
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин...

Брюс родился в России в семье выходца из Шотландии. Еще в детстве он участвовал в сражениях «потешных» полков Петра. Впоследствии он стал полководцем, командовал артиллерией чуть ли не во всех битвах Петра I. В 1721 году Брюс подписывал Ништадтский мир, и царь писал ему восхищенно: «Никогда наша Россия такого полезного мира не получала!»

Замечательно, что человек этот совмещал в себе столь, казалось бы, разнородные таланты полководца, ученого и организатора. Его можно назвать знамением времени. Ведь мы знаем и многих других разносторонне одаренных людей той эпохи. Их всех заражал своей бушующей энергией Петр I, они все были «птенцы гнезда Петрова»!

Стараниями Брюса — он с 1706 года числился и главой печатного дела в России — был выпущен календарь, сочиненный Василием Киприяновым. Но назывался календарь «Брюсовым», на титульном листе крупными буквами значилось: «Под надзрением его превосходительства господина Генерала лейтенанта Якова Вилимовича Брюса».

В календаре содержались сведения о восходе и заходе солнца и луны, о долготе дня, о затмениях, различные любопытные предсказания, ныне вызывающие только улыбку...

По ночам, когда Москва уже давно спала, в узком стрельчатом окошке Сухаревой башни иногда светился огонек. Это Брюс озирает звездное небо в свой «телескоп».

Его занятия и породили всевозможные легенды о «чернокнижнике», сочиненные невежественными староверами. Поползли слухи о том, что царь-антихрист Петр вместе с Брюсом, Меншиковым, Апраксиным и другими сенаторами неизменно присутствует на ночных заседаниях «Нептунова общества» в Сухаревой башне. Председательствует на заседании, по обыкновению, иностранец Лефорт. Еще говорили, что Брюс в башне составляет волшебные смеси живой и мертвой воды, приказал слуге своему sprysнуть ею себя после смерти, а часть эликсира подарил Петру.

Россказни ходили и о библиотеке Брюса с дьявольскими печатями на переплетах. Здесь, видимо, имелись

в виду наклеенные на них необыкновенно богатые по фантазии рисунка его экслибрисы.

В одной из раскольнических рукописей даже описывались эти книги:

«1. Книжница хитрая с таблицами, тайными буквами, выписанная из чернокнижия, магии черной и белой, кабалистики и прочего.

2. Зерцало, показывающийся покойник за 100 лет в живе образе, и одежду, и походку, и говорящий, на все вопросы отвечающий одни сутки, после пропадает.

3. Черная книга, кудесничество, чародейство, знахарство, ворожба. Сие русское чернокнижие, собранное русскими знахарями. 19 частей».

Но вот Петр I умер, а с ним закатилась и звезда Брюса. Ему пришлось уйти в отставку и поселиться в подмосковном имении Глинки, подаренном царем с пятьюстами крестьянских душ. Краткие справочники по Подмосковию указывают, что дом Брюса — самое старинное в Московской области сооружение гражданской архитектуры.

...Автобус от станции Монино за каких-нибудь 15—20 минут довез Бориса Афанасьевича Вилинбахова до места. И вот он, дом, а точнее, дворец «чернокнижника» Брюса. Теперь в нем санаторий.

Здание оставляет сильное художественное впечатление. Одни справочники говорят, что оно якобы выстроено по чертежам самого Брюса, бывшего, как видно, мастером на все руки. Другие путеводители указывают, что дом выстроил архитектор Еропкин, умерщвленный при Анне Иоанновне за дружбу с казенным канцлером Воынским.

Удивительно гармоническую картину представляет этот уникальный дворец петровского времени, напоминающий и о подобных, ныне не существующих сооружениях Подмосковию. Он не так велик по своим размерам, этот двухэтажный дом, однако создает иллюзию об-

ширного и вместительного здания. Способствует этому светло-зеленая, переходящая в голубую, «воздушную», окраска фасада, а главное, двухъярусные лоджии, зрительно облегчающие массив сооружения. «Рустовка нижнего этажа усиливает игру светотени белых деталей, хорошо видных на фоне бирюзовых стен», — констатирует М. А. Ильин.

Но вот путешественник подошел ближе. В центре декоративных наличников окон вделаны каменные маски. Почти каждая из них имеет свое неповторимое выражение: они то кривляются, то пугают. Можно себе представить, какое впечатление производил высокий светлый и стройный дом с этими странными и страшными масками на окрестное население, на жителей курных изб. Неудивительно, что легенды о хозяине росли и множились, украшались всевозможными подробностями.

Целый день провел Вилинбахов, любуясь прекрасными линиями дома, остатками парка, уцелевшими зданиями кордегардии и садового павильона. Он встретился здесь с некоторыми краоведами-энтузиастами, любителями подмосковного зодчества, которых становится все больше; уже не удовлетворяют их краткие справочники, повторяющие от выпуска к выпуску все те же схематические сведения. Они по крохам в старых газетах, в мемуарной литературе добавляют давно позабытые факты о чудесных памятниках и легендах Подмосковья. Разговорился он и с местными жителями, и они рассказывали ему много интересного: оказывается, предания о Брюсе живы в Глинках и теперь.

Остатки парка хранят еще еле заметные следы масонских увлечений хозяина. В расположении дорожек, обсаженных некогда стриженными липами, еще различимы «рисунки» шестиконечных звезд — символов масонства. Позади и по сторонам дома в траве и овражках еще лежат остатки диковинных камней, ребристая, че-

шуйчатая поверхность которых свидетельствует, что некогда эти чудища «охраняли» дом. Были тут и статуи античных богов и героев.

А сторожилы рассказывали, добродушно посмеиваясь, баснословные предания своих дедов. В них выдумки перепутались с былью. Прилетал, мол, к Брюсу огнедышащий дракон и однажды, когда чародей махнул шляпой, грохнулся, окаменев возле дома. Брюс со своими гостями якобы летом катался на коньках по искусственно замороженному пруду. Деревья парка составляли буквы тарабарской грамоты. В зимнюю стужу чародей плавал по пруду на лодке. Делал куклы, которые ходили, говорили и лишь не имели души и т. п.

Когда Брюс умер, то согласно его воле труп будто бы вырыли и хотели sprysнуть «живой» водой. Но слуга, испугавшись, выронил пузырек с эликсиром, и он разбился.

Слушая все эти байки и мысленно отделяя фантазию от правды, любуясь классически ясными пропорциями дворца, остатками парка и фонтанов, Вилинбахов пытался представить себе картину тех времен, когда среди белевших статуй и нежно журчавших разноцветных струй чинно прогуливались расфранченные гости Брюса: дамы в широких пышных юбках, кавалеры в камзолах и париках.

Внутренняя часть дворца в 1899 году сгорела, по слухам, от влетевшей в окно шаровой молнии. Старики говорили, что Брюс предсказал этот пожар в своем календаре. А дальше началась невыдуманная житейская проза. Дворец и прилегающие к нему хозяйственные постройки переходили от одного хозяина к другому, и каждый использовал их по своему усмотрению. Фабрикант Колесов, например, свалил все парковые скульптуры и часть их приспособил в качестве плотины через Клязьму, а другие просто выбросил.

Позднее была снесена замечательная по архитектуре домовая церковь. К счастью, находившийся в ней первоклассный памятник скульптуры — надгробие Прасковьи Брюс работы Ивана Мартоса перевезли в Музей русской архитектуры при Донском монастыре и реставрировали. На фоне пятиметровой пирамиды из серого гранита — беломраморный барельеф умершей. У саркофага скорбно склонился юный воин в шлеме — муж Прасковьи Брюс был генералом. На шлеме — латинская надпись «Fuius» («Мы были»).

Прочитав эту надпись, Вилинбахов невольно вспомнил экслибрис на книге из библиотеки Брюса. В верхней его части была изображена рука в латах (намек на то, что книга принадлежала воину), а внизу на орденской ленте — та же надпись.

А какова же судьба легендарной библиотеки Брюса? В свое время известный антиквар Шибанов считал ее самой интересной и ценной из всех так называемых усадебных библиотек.

...Увы! По наведенным справкам, бывшая библиотека Брюса распылена по разным книгохранилищам, частным собраниям, а большая часть ее бесследно исчезла. И во многом виноваты здесь любители экслибрисов, которые отклеивали их, а то и просто отдирали от томов легендарного книжного собрания. А ведь только по этому помпезно-затейливому экслибрису и можно было установить автора пометок на книге и ее владельца.

ПРОПАВШИЕ КАРТИНКИ

В тот вечер Большой зал Московской консерватории был полон. Исполнялась сюита Модеста Петровича Мусоргского «Картинки с выставки».

Вот зазвучало вступление, как бы приглашающее пройти по выставке, сделать, как говорили в старину,

«променаж», настроиться, а потом уже все осмотреть подробно и вдумчиво.

Первая часть сюиты — «Гном». Странная прихотливая музыка. Каждый раз, когда слушаю «Гнома», вспоминаю детство, мохнатую, сладостно-пахучую, казавшуюся огромной елку, под колючую хвою которой я так любил забираться. Среди игрушек — хромоногий гном, похожий на мухомор, в красном, с большими белыми горошинами колпаке. Он прятался в самой густоте хвои, и оттуда хитро поблескивали глазки из черного гаруса.

Потому-то я, наверное, так и люблю музыку, что она рождает воспоминание о том, что было, грезились, а может, и сбудется...

Слушая одну за другой части этого необыкновенного произведения — сюиты Мусоргского «Картинки с выставки», я вновь взглянул на программку. Оказывается, музыка была написана композитором под впечатлением выставки работ его рано умершего друга, художника-архитектора Виктора Александровича Гартмана. Каждая часть сюиты соответствует картинке художника: «Гном», «Старый замок», «Тюильри», «Быдло», «Балет невылупившихся птенцов», «Два еврея», «Рынок в Лиможе», «Римские катакомбы», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота». И снова, как уже не раз, возникал недоуменный вопрос: а что же представляют из себя эти самые «картинки», где их можно увидеть?

Сообщения словарей и энциклопедий были предельно лаконичны. Правда, удалось познакомиться с некоторыми высказываниями о Гартмане (1834—1873) выдающегося русского критика Владимира Васильевича Стасова, который в 1874 году и устроил посмертную выставку произведений художника. Стасов очень тепло отзывался о Гартмане, горюя о преждевременной смерти 39-летнего художника. Он утверждал, что его кончи-

на даже более горестна для русского искусства, чем ранняя смерть исторического живописца Вячеслава Шварца. Просмотр каталогов художественных музеев не дал ничего: работы Гартмана в них не значились.

Узнав из разговоров с искусствоведами о том, что старый большевик Елена Дмитриевна Стасова (ныне покойная) принимает участие в издании трудов В. В. Стасова (ее дяди), я решил письменно обратиться к ней за советом. Ответ пришел скоро. Елена Дмитриевна рекомендовала связаться с Государственным Русским музеем. Ученый секретарь музея Л. П. Белановская ответила, что в этом уникальном хранилище русского искусства есть 14 гартмановских акварелей, 9 из которых — проекты павильонов для зоосада в Москве, а среди остальных — и это оказалось самым интересным — одна послужила Мусоргскому темой восьмой части цикла — «Римские катакомбы». Л. Белановская прислала и фоторепродукцию акварели.

Акварель изображает самого художника и архитектора Кеннеля, осматривающих подземелья. Мусоргский сопроводил ноты этой пьесы надписью: «С мертвыми на мертвом языке. Творческий дух умершего Гартмана ведет меня к черепам, взывает к ним, черепа тихо засветились».

Так началось мое знакомство с акварелями, вдохновлявшими Мусоргского. Спустя некоторое время при просмотре старых изданий, а именно в «Мотивах русской архитектуры» за 1875 год, мне удалось обнаружить воспроизведение еще двух разыскиваемых работ Гартмана — «Избушка на курьих ножках» (девятая часть цикла Мусоргского) и «Проект городских ворот для Киева» (так называемые «Богатырские ворота» Мусоргского, десятая часть).

После мрачной музыки «Катакомб» звучит пьеса «Избушка на курьих ножках», полная чисто русской сказочности. Любопытно, что на рисунке никакой бабы-

яги нет, хотя ее шумливый полет красочно передает музыка... Мусоргский здесь развил фантазию Гартмана. Рисунок же представляет изящные и затейливые чашки-ходики в виде избушки. Что же касается рисунка богатырских ворот, то он находится в точном соответствии с величавым и торжественным финалом, завершающим сюиту.

Вскоре я встретился с научными сотрудниками Третьяковской галереи Ульянинской и Лесюк, которые показали из запасника пять работ Гартмана. Две, по их мнению, не что иное, как «Еврей бедный» и «Еврей богатый». «Мусоргский сильно восхищался выразительностью этих картинок, и Гартман сейчас же подарил их своему другу», — вспоминал В. В. Стасов.

В Музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки удалось разыскать репродукцию еще одного эскиза, привлечшего внимание Мусоргского. На его сюжет композитор сочинил скерцино «Балет невылупившихся птенцов». Гартман изображал детей, одетых канарейками. Некоторые птенчики только еще вылупились, другие сидели в скорлупках. Казалось, они щебетали, суетились.

Более десяти лет назад я опубликовал маленькую заметку о «Картинках с выставки» в «Огоньке» и предложил поискать вместе со мной недостающие «картинки». Пришло двенадцать писем. Один из читателей утверждал, что видел репродукции «картинок» в одном из редких французских иллюстрированных журналов. К сожалению, он не записал название издания, номер и год. Другой даже прислал фотографию имеющейся у него картины, предполагая, что это гартмановский «Гном». К сожалению, это оказалось копией или вариантом картины немецкого живописца Генриха Шлитта «Лесной врач». Автор, пожелавший остаться неизвестным, прислал стихи. Он писал, что пытался в них выразить характер акварелей (как он их себе представляет)

и музыки. Привожу одно из стихотворений, «Богатырские ворота».

«Для города, для Киева, для стольного могучего, построены да сложены ворота богатырские. Высокий купол до неба, широкий въезд на пол-Днепра... Вы, люди, люди храбрые, богатыри могучие, вы, девушки румяные, молодушки пригожие, вы люди, люди добрые, для вас открыты день и ночь ворота богатырские. Но для лихого недруга, для змия чужедальнего в наш славный город нет пути: ворота не откроются.

Три колокола высятся, красуются под куполом. Ударит первый колокол — весь город к нам пожалует. Второй ударит колокол — придет вся Русь великая. Ударит третий колокол — к нему со всех сторон придут гонцы несметные. Придут и полюбуются на нашу силу сильную, на нашу песню звонкую, что реет по поднебесью, по всей земле разносится».

...Таким образом, из десяти заветных акварелей известны пять. Если бы посетители выставки-распродажи 1874 года знали, что на сюжеты некоторых из работ Гартмана Мусоргский вскоре напишет волшебную музыку, они, вероятно бы, их купили и сберегли... К счастью, искусствовед Собко выпустил тогда же каталог выставки. Тщательное изучение довольно подробно сделанных им описаний акварелей (увы, каталог без иллюстраций) дает некоторое представление об этих пяти работах и до известной степени направляет поиски. Кроме того, существуют сведения о том, что вдова Гартмана (детей у них не было), полька по происхождению, вскоре после выставки-распродажи с остатками ее уехала во Францию.

Будем надеяться, что пропавшие «картинки» так или иначе обнаружатся.

«ЧЕРНАЯ ДАМА»

В 1975 году довелось мне побывать в доме отдыха «Каролишевичи», что в 18 километрах юго-восточнее Минска. Местечко живописное, отдыхающих немного. Мы гуляли, любовались лесными озерами, собирали грибы.

— А нет ли здесь каких-либо интересных легенд или преданий? — спросил я как-то у минского старожила Ростислава Ивановича.

— Кажется, нет... А впрочем, погодите-ка. Правда, это случилось не здесь, а в Несвиже, не так отсюда далеко. Но, может быть, вы уже слышали про «Черную даму»?

— Нет, не слышал. Расскажите, пожалуйста.

— Там находится родовой замок князей Радзивиллов. Много-много лет назад дочь князя Марыся влюбилась в молодого конюха, а когда родители узнали об этом, то заточили ее в башню. Конюха отдали в солдаты, а Марысе сказали, что он внезапно умер.

— И девушка, конечно, выбросилась из башни и разбилась?

— Откуда вы это знаете? — улыбнулся Ростислав Иванович.

— Я даже знаю, что дальше произошло. По ночам Марыся в виде «Черной дамы» бродит по замку. Это ведь типичная замковая легенда! В Эстонии, в Хаапсалу, вам расскажут о «Белой даме», которая появляется в лунную ночь. И какой же замок без привидения? Вспоминается рассказ Конан-Дойля о том, как один господин, купивший замок, досадовал, что в нем нет привидения, и пытался купить и его...

Ростислав Иванович посмотрел на меня несколько иронически.

— Да, вы много всего начитались. Но в Несвиже девушка не выбросилась из башни, а выбежала в лютый мороз в парк и ее нашли замерзшей. Во-вторых, в подземелье костела, в родовом склепе Радзивиллов, есть так называемый горбатый гроб, не она ли в нем? В-третьих, в парке стоит обелиск, поставленный на том месте, где она умерла. В-четвертых, «Черной дамой» прозвали не Марысю, а ее мать, которая долгие годы после смерти дочери ходила в трауре. Ее душа не знает покоя и бродит ночами по замку и парку.

Мне пришлось признаться, что эта легенда в самом деле необычная. Захотелось поехать в замок и все самому увидеть и разузнать. Я подробно расспросил Ростислава Ивановича, как туда проехать. А утром следующего дня комфортабельный автобус Минск — Несвиж уже мчал меня по территории, некогда называвшейся Западной Белоруссией. Миновали Столбцы, бывшие в свое время пограничным пунктом, и скоро въехали в длинную аллею седых тополей, в конце которой виднелся замок. Автобус вдруг круто повернул — приехали на конечную остановку.

Зашел на автобусную станцию заблаговременно купить обратный билет и тут, в зале ожиданий, увидел большое панно: к хвостам бешено мчащихся коней привязаны девушка и юноша. Но гибель их не страшит — любовь сильнее смерти! Так варьировалась, очевидно, местная легенда художниками-монументалистами.

— То наша Марыся, — убежденно сказала какая-то старушка. — Ей и памятник поставили в парке. Видели?

Я попытался узнать у нее какие-нибудь подробности, но старушка лишь повторяла: все, мол, так и было, как «на картине».

Я пошел в сторону замка, миновал старинный костел — его решил осмотреть после. Великолепный огром-

ный парк, по каналам плавают лебеди... Встречаются группы отдыхающих — в замке санаторий. Донжон, главная сторожевая башня, казалось, и сейчас еще зорко охраняет дорогу. Через перекидной мост и ворота вошел во внутренний двор замка и мимо фонтанов и клумб с алыми розами направился в библиотеку санатория.

— Легенда-то, конечно, остается легендой, но она имеет под собой и какие-то факты, — рассказывала библиотекарь. — Местное население не сомневается в них. К сожалению, богатейший архив Радзивиллов, так же как и их знаменитая библиотека, в значительной степени погибли во время войны, и лишь небольшая часть, сколько мне известно, попала в государственные хранилища Ленинграда и Варшавы. Опытно-научным знаком тут могут служить экслибрисы Радзивиллов, наклеенные на обороты книжных переплетов. А ведь в мемуарах князей, может, что-то и было насчет Марыси и ее матери. К счастью, уцелели некоторые из портретов, висевших в замке, они скоро будут выставлены в Минском художественном музее. Советую посмотреть — не окажется ли среди них Марыся и «Черная дама»?..

Мне показали, как пройти к обелиску... Парк переходил в лес. На берегу живописного пруда застыли каменные изваяния медведей — я слышал, что Радзивиллы были страстные охотники. А вот и высокий серый обелиск. На нем высечено: «Марысе. 1898». Что он означает? Быть может, на этом месте в самом деле нашли замерзшую девушку? Или похоронена она тут, а не в родовом склепе? Но почему тогда обелиск, а не надгробие?

На обратном пути зашел в костел. У входа металлическая доска: «Построен по проекту Яна Марии Бернадони в 1593 году». Выдающийся памятник архитектуры, охраняется государством.

Костел великолепен. Масса скульптуры, всевозможных украшений из мрамора, росписи... И рядом с многочисленными изображениями почивших Радзивиллов барельеф Людовика Кондратовича, польского поэта, писавшего под псевдонимом «Сырокомля». Одно из его стихотворений — «Когда я на почте служил ямщиком...». Похоронен поэт не здесь, но он местный уроженец, с любовью писал о Несвиже, его знаменитых парках.

Я попросил настоятеля разрешения спуститься в склеп. В мрачном подземелье стоят гробы-саркофаги, все одинаковой формы. И только один — «горбатый», с утолщением посередине. «Нашей доброй маме», — выгравировано на металлическом венке. И далее: «Княгиня Адель из дома Карницких, скончалась в возрасте семидесяти четырех лет». Следовательно, гроб к Марысе отношения не имеет. Настоятель говорит, что все гробы изготавливались в 1905—1907 годах в Петербурге, тогда и перехоронили останки из обветшалых саркофагов. По просьбе жителей Несвижа несколько лет назад гробы были вскрыты, — в них оказались мумии бывших владельцев замка. Форма «горбатого» гроба также объяснилась прозаически: в такие гробы ставилась ваза с цветами, — сохранилось даже объявление петербургского мастера похоронных дел, рекламировавшего свои изделия.

На другой день в Минске, в Государственной библиотеке БССР, я попросил указать мне литературу о Радзивиллах. Предложили несколько энциклопедий и громадный фолиант, включающий около 200 гравюр. Оказалось, что гравюры эти были выполнены с портретов из фамильной галереи Радзивиллов в Несвиже. Открывали ее портреты воинов, служивших еще у великих князей Литовских. Под каждым портретом подробные сведения на латыни о происхождении, званиях, чинах, дате жизни...

Бородатые рыцари в латах, молодцеватые кавалеры в головных уборах с пером, духовные лица. Много женских портретов. Но кто же из них Марыся и «Черная дама»? Впрочем, красавицы Марыси — а она невольно представляется мне такой, какой изображена на панно в Несвиже — златокосой и светлоокой, — я, конечно, не нашел. Ведь если легенда правдива, то портрета княжны, поступившей весьма «опрометчиво», и не могло быть в галерее... А «Черная дама», ее мать?

Мое внимание останавливает портрет (№ 149) властной пожилой женщины, одетой во все черное. Подпись свидетельствует, что это Анна-Катажина, жена Карла-Станислава Радзивилла, канцлера великого княжества Литовского, жила с 1676 по 1746 год. Однако никаких указаний, что это именно «Черная дама», нет.

Иду в Художественный музей БССР. Узнаю, что тут вскоре действительно будет открыта выставка реставрированных радзивилловских портретов. Беседую с Таисией Андреевной Карпович, которой поручена экспозиция.

— Велики были исторические и художественные ценности несвижского замка, — говорит она. — Галерея, коллекция оружия, архив, библиотека — в ней когда-то находилась знаменитая русская летопись, называвшаяся по владельцу радзивилловской... Среди художественных ценностей к нам в музей наряду с фамильными портретами попало и уникальное собрание слущких поясов — изумительных образцов златоткачества. О трагической судьбе коллекций нашего музея в дни войны вы знаете. Мы уже считали, что все погибло, но вдруг нам сообщили, что в товарном вагоне на запасном пути какой-то немецкой станции обнаружены неизвестные портреты. Велика была наша радость — это оказалась часть несвижской галереи. Но в каком состоянии! Думалось, восстановить ее невозможно. И вот портреты попали в реставрационную мастерскую Государственного Рус-

ского музея к замечательному мастеру Анатолию Борисовичу Бриндарову. Долго разглядывал он эти произведения и вполне их оценил. И случилось чудо: он вернул портреты к жизни. Дублированные, переведенные с дерева на холст, полотна засверкали живыми сочными красками, будто недавно написанные.

— Скажите, а нет ли среди них портрета «Черной дамы»? — спрашиваю я, почти уверенный в отрицательном ответе. Да и знают ли здесь об этой легенде?

— Есть «Черная дама», — спокойно отвечает Таисия Андреевна.

— Да как же вы ее определили?

— В «описи» Радзивилловских портретов, хранящейся в одном из Киевских архивов и относящейся к XVIII веку, после слов «Анна-Катажина» и подробных сведений о происхождении есть старинная приписка по-польски: «Черная дама».

Итак, интуиция на сей раз, кажется, меня не подвела. Глядя на портрет, я представлял себе убитую горем мать, которая должна была скрывать свои чувства, и лишь до конца дней носила траур. Долгие годы еще мерещилась кое-кому в парке неприкаянная тень «Черной дамы»... Так рождалась легенда о привидении.

Но как хочется увидеть и портрет Марыси! Может быть, со временем я все-таки отыщу его? И еще надо обязательно раскрыть тайну обелиска.

Я подробно ознакомился с биографиями могущественных в свое время Радзивиллов, с бытом и нравами эпохи, и передо мной оживало прошлое. Да, было время, когда любовь княжны к простолюдину считалась позором и все Радзивиллы пытались скрыть эту историю, предать забвению. Но прошли века, и взгляды людей менялись. Теперь предание о трогательной и трагической любви красавицы княжны и бедного юноши уже

не казалось предосудительным. Наоборот, замок и парк приобрели благодаря Марысе некую утонченную прелесть...

Возможно, Марысю и в самом деле когда-то похоронили в парке, и об этом сохранилось глухое предание. А в конце XIX века кто-то из «новых» Радзивиллов поставил ей эгегический обелиск. Год — 1898 — означает не что иное, как дату его установки.

Своей гипотезой я поделился с некоторыми белорусскими историками и фольклористами. Они считают ее правдоподобной.

ДЕНЬ НА МАСЛОВКЕ

Памяти моего товарища, диктора Всесоюзного радио Юрия Скалова

Тридцать пять лет назад я, начинающий тогда журналист, для московских газет и журналов писал заметки и репортажи о художественных выставках, о реставрации памятников, о новых книгах по искусству. Особенно любил я бывать в мастерских живописцев, графиков, скульпторов, делать так называемые «окна», то есть давать «развернутую» подпись под фото, на котором изображался обычно «рабочий момент»: художник за созданием нового произведения. Бывало, зайдешь в мастерские на Верхней Масловке, да и останешься там на целый день, если для газеты не нужно срочных материалов.

Считаю, что мне очень повезло, ибо довелось присутствовать при рождении картин, рисунков, скульптур, вошедших в историю советского искусства. А ведь рождение каждого значительного полотна — это своего рода открытие новой, неизвестной ранее частицы мира.

И как же мне хотелось присутствовать при этом рождении, приобщиться к тайне творчества...

Часто мы встречались здесь, на Масловке, с Юрием Скаловым, репортером, а потом и диктором радиокомитета. Он мечтал написать небольшую документальную повесть «День на Масловке». Но, вечно занятый срочным репортажем, так и не успел...

* * *

Утром я приходил в мастерскую народного художника СССР Бориса Владимировича Иогансона, где коллектив мастеров писал большое полотно «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола». Обычно вся бригада была уже в сборе. День за днем я наблюдал за тем, как оживало произведение, создаваемое под руководством Иогансона. Умные, точные мазки почти незаметно преображали картину, насыщали ее светлыми ясными красками.

Авторы картины, дабы лучше себе представить обстановку исторического выступления Ленина, приглашали к себе в гости участников съезда. Вот что рассказывал им один из них, поэт Александр Жаров:

«В тот день в витринах магазинов и на стенах домов висели многочисленные плакаты, призывавшие громить Врангеля, гнать белополяков из Белоруссии. Белели листки с постановлениями о борьбе с разрухой, болезнями...

Делегаты III съезда комсомола были уверены, что Ильич призовет их сражаться с врагами, вызволять из огненного кольца молодую республику. И все готовы были пойти на фронт, отдать, если нужно, свою жизнь за дело рабочего класса. Как и в песне, распевавшейся тогда красноармейцами:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это...

Мы пришли в огромное здание на Малой Дмитровке, принадлежавшее до революции так называемому Купеческому собранию. Начались выступления делегатов. И вдруг в речь одного из них ворвался нарастающий шум аплодисментов.

Долго стоял Ильич, тщетно поднимал он руку и просил у комсомольцев «пощады». Когда стихли громы оаций, в наступившей тишине зазвучали простые и проникновенные ленинские слова: «...задача состоит в том, чтобы учиться».

Можно представить, каково было удивление делегатов! Ведь мы думали, что двинемся в боевой поход сразу после съезда. Отправимся с благословениями самого Владимира Ильича. Ленин позовет нас в последний и решительный бой!

Но Ленин в этот раз позвал нас в другой поход — за знаниями! Он дал нам понять, что разгром вооруженных врагов подготовлен партией и будет осуществлен скоро. Вслед за этим начнется новый период жизни, период восстановления разрушенного хозяйства, время мирного созидания.

Когда Владимир Ильич говорил о победных перспективах общего труда, нам представлялся радостный, дружный, гигантский субботник, нам слышались волнующие раскаты симфонии труда и творчества, размеренный говор машин и механизмов, послушных человеку».

...Картина была наконец завершена, и одним из первых ее увидел, конечно, Александр Жаров. Внимательно, придирчиво осмотрел полотно комсомолец 20-х годов и сказал примерно так:

— Картина мне нравится. Я едва ли ошибусь, сказав, что она будет популярна в народе. По-моему, она выполнена блистательно с точки зрения живописной техники, например, прекрасно дано освещение. Но с точки зрения исторической правды, со стороны, так сказать, документальной, здесь могут быть придирки. Мы были беднее одеты. Конечно, пиджаки и рубашки мы тщательно простирали, шинели починили, но все же мы выглядели менее красиво. Со светом тогда обстояло плохо, этой праздничной освещенности не было. Что же касается образа Ильича, то он выполнен безукоризненно. Вот таким простым, обаятельным, словно бы обратившимся не к многосотенной аудитории, а к одному человеку, он перед нами и выступал...

Тогда не только в мастерской Иогансона, но и в других создавались художественные бригады, работавшие над общим полотном на особо ответственную тему. По поводу этого нового метода, еще не применявшегося в истории живописи, велись в свое время страстные споры. Пожалуй, большинство сходилось на том, что коллективная картина вряд ли может быть удачной, поскольку каждый талантливый мастер имеет свой неповторимый почерк.

В процессе работы над картиной и в мастерской Иогансона не все шло гладко. Некоторые молодые художники на каком-то этапе вроде бы почувствовали, что теряется их творческая индивидуальность. Однако обаяние личности Иогансона, его опыт и такт оказались столь высоки, что в результате картина воспринималась как единый, целостный образ, созданный одним мастером.

Но теперь, когда Жаров коснулся весьма сложного вопроса, возникло опасение, что споры о том, в каком «освещении» давать исторический эпизод, вспыхнут вновь.

Художники устроили нечто вроде небольшого заседания. Борис Владимирович, пошептавшись то с одним, то с другим, наконец сказал:

— Вопрос о документальной точности воссоздания всей обстановки съезда поднимался и оспаривался у нас не однажды. Мы вполне доверяем товарищу Жарову и допускаем, что краски одежды и всего зала в действительности выглядели бледнее. Если бы мы были только фотографами, пусть даже мастерами цветной фотографии, то должны были бы дать точный снимок происходящего. Но мы живописцы, поэты кисти, да и смотрим на волнующее историческое событие тридцатилетней давности с вершин сегодняшнего дня. Мы обязаны правдиво воссоздать главное, и тут уж не место буквализму. А самая главная задача, которая перед нами стояла, — это правдиво и вдохновенно отобразить атмосферу события, его внутреннюю, психологическую сторону. Сам Александр Жаров рассказывал нам о внутреннем воодушевлении, творческом огне, охватившем всех слушавших Ильича. И наши радостные краски в той или иной мере должны передать то ощущение торжественного праздника, которое испытывали комсомольцы, мысленно представляя себя уже в светлом преддверии коммунизма.

* * *

Потом я заходил в мастерскую моего земляка Сергея Васильевича Герасимова. Подправляя кистью тот или иной уголок пейзажа, то приближаясь к полотну, то отходя от него, он говорил:

— Вы, родившись после революции, старого Можайска не знаете, видели только его остатки. А мои картины уходят корнями в глубь века. Мимо нашего дома вечно тянулись в пыли крестьянские подводы. Иногда

мужики и бабы часами дожидались починки разрушенного половодьем моста. Я мальчишкой вечно глазел на это шумливое и живописнейшее зрелище. Мужики часто появлялись и в нашем доме, у моего отца, кустаря-кожевника. Даже комнаты дома, кажется, навсегда пропахли дегтем, сеном и махоркой и словно до сих пор слышат говор крестьян. С молодых лет завелась у меня среди мужиков дружка, и этой горячей, немногословной дружбе и обязан я, крестьянский внук, многому в своем творчестве.

Сергей Васильевич, плотный, краснолицый семидесятилетний человек с едва заметными сединами у висков, неторопливо, спокойно рассказывал, а я разглядывал его картины и рисунки.

На стенах висели все больше можайские пейзажи, некоторые стояли и на мольбертах — Сергей Васильевич, как видно, работал сразу над несколькими. Почти все изображенные им места угадывались мной сразу: это были уголки его сада, в которых он находил все новые мотивы и краски. Узнавались ближние и дальние окрестности его дома, стоявшего на самой окраине Можайска, у Москвы-реки, у белокаменных стен старинного Лужецкого монастыря.

Вот висит «Зима», написанная в 1939 году в деревушке Исавицы. Мимо заснеженных сараев лихо едет на санях-розвальнях старик в криво нахлобученной шапке-ушанке. Одно «ухо» торчит словно у зайца. Впереди несется собачонка, и в чутком предвесеннем воздухе словно слышится ее залиvistый лай. Где-то сзади притих темный ельник. Там пешеход деловито пересекает широкую деревенскую улицу — настает пора хозяйственных работ. Ничего особенного в смысле содержания, казалось бы, нет. Просто трогает привычное русское раздолье, веет снегом, стариной и новью.

Здесь и другая хорошо знакомая многим его картина «Лед прошел», созданная в 1945 году. Белоствольные

березы и темные старые осины застыли в ожидании весны. На том берегу столпились в кучку жидкие кустики, но словно бы исходит от них животворный светло-зеленый дымок. Нежнейшие краски разлиты в природе. Чуть-чуть голубее небо. Чуть-чуть колышутся от ветра ветки. Вот в этом «чуть-чуть» прелесть пробуждения родной природы, особенно волновавшая нас в тот год, в предчувствии близкой победы, была передана Герасимовым с тонкой поэтической непосредственностью.

Герасимов перенял нечто от одного из своих учителей, Сергея Васильевича Иванова, в мастерской которого он занимался в Московской школе живописи, ваяния и зодчества. Это «что-то» заключалось, например, в том, что он любил изображать сцену не анфас, а сбоку, сзади, с, казалось бы, незначительными подробностями. Его, как и Иванова, не привлекала внешняя красота человека, как притягивала она многих других живописцев. Казалось даже, что Герасимов специально выискивал неказистые, некрасивые лица и фигуры, изображал нарочито неэффектные позы.

На самом же деле его интересовали эти лица потому, что он видел в них и умел передать особую духовную красоту, силу характера. Это проявилось уже в первых его значительных работах после Октября, а именно в серии рисунков «Крестьяне».

Расцвет творчества Сергея Герасимова пал на 30-е годы, когда для большинства советских людей раскрылась радость и красота завоеванного в Октябре счастья, когда яркие, ясные краски жизни, ранее таившиеся и незаметные, вспыхнули перед глазами людей. Чуткой своей кистью художник как бы собрал воедино эти оттенки и цветные переливы, показал не только красоту природы и родной земли, но прежде всего красоту духовного облика народа.

Вся предшествующая огромная работа по изучению и созданию образа советского крестьянина помогла Герасимову написать два ставших широко известными произведения — портрет «Колхозный сторож» и картину «Колхозный праздник».

Рассматривая «Колхозного сторожа», мы прежде всего чувствуем, что сам художник писал его с огромным увлечением и влюбленностью в создаваемый образ. В самом деле: как не полюбить этого мужественного статного человека, широкая грудь которого, наверно, крепка, как камень. За плечами бородача — винтовка. Много поработал да и поохотился на своем веку человек: и на зверя хаживал, и партизанил, и вот теперь, на старости лет, снова не расстается с заветным ружьем: охраняет народное добро. Носит он свое тяжелое ружье легко, и если нападут на этого бородача лихие люди, поблажки им не видать. Русский характер!

Сергей Герасимов всегда умел подчеркивать в крестьянине его близость к земле, любовь к крестьянскому труду. От «Колхозного сторожа» с его широкой, цвета спелой ржи бородой, закрывающей всю широкую грудь, так и веет необъятными солнечными полями, просторами...

Радостным праздником, своего рода апофеозом сельского труда предстала перед зрителями картина Сергея Герасимова «Колхозный праздник». На широкой возвышенности, откуда хорошо видны добротные колхозные строения, собрались труженики села отпраздновать завершение летних работ. Каждый человек, изображенный на полотне, был хорошо знаком Герасимову и потому так правдиво, естественно написан. Непринужденно и вместе с тем с достоинством и сознанием важности исполненного труда собрались эти люди.

Дарование Герасимова-колориста выступает тут в полном блеске. Необычайно щедра в картине живопись, как бы озаренная солнцем. Праздник у людей —

праздничные краски в природе. На голубой кофточке девушки полыхает огненный значок. Призывно блещет медь на трубе оркестранта, манит и успокаивает взор букет светло-лиловых колокольчиков на богато убранном столе. Но эта внешняя красота отнюдь не заслоняет идейного содержания картины, а, наоборот, усиливает его.

На Западе Сергея Герасимова справедливо называют выдающимся мастером пленэра. Но есть существенная разница в методе западных пленэристов и советского мастера. По словам импрессионистов, солнце на их картинах равно озаряет и драгоценные камни, и отбросы, заставляя те и другие сверкать волшебным цветом. Задача советского художника, такого мастера пленэра, как Сергей Герасимов, другая. Лучами своего большого искусства он озаряет самое ценное в жизни — человека и величие его дел.

Вот и в послевоенные годы трудился он над полотном большого социального звучания «Мать партизана».

Сергей Васильевич приехал в Можайск вскоре после освобождения города от фашистских оккупантов. При виде руин знакомых домов его сердце сдавило страшное горе. Первый набросок картины «Мать партизана» он писал под впечатлением рассказов очевидцев.

Встретившись со мной в Можайске, он повел меня в подгородную деревню и показывал остатки избы, изображенной им на полотне. Обгорелый сруб еще долго стоял там как гневный памятник трагедии, разыгравшейся здесь.

Да, все было так, как изобразил это живописец. Фашисты схватили партизана и пытаются его на глазах матери. Живописец сосредоточил главное внимание на образе простой русской женщины.

На чьей стороне победа? На стороне матери, застывшей в величии своей скорби. За ней незримо встает многомиллионный советский народ.

И талантливый художник решает эту задачу своим излюбленным приемом введения пейзажа в картину. Перед зрителями не зима, которую часто изображают художники-баталисты, дабы на фоне белого снега контрастнее подчеркнуть суровое величие происходящего. В разгаре летний день. Небо над матерью голубое, спокойное. Она стоит на фоне привычного русского пейзажа. А за спиной фашиста лишь стелется удушливый дым.

Тем, кому хотелось бы забыть кошмар недавнего, картина грозно и отрезвляюще напоминает о том, чего забыть нельзя никогда. Она показывала мужественную духовную красоту народа, который спас человечество от смертельной опасности. Она призывала к сплочению всех честных людей земного шара против поджигателей новой мировой войны.

* * *

За большими окнами в коридорах дома на Масловке уже смеркается, когда я иду к моему другу Николаю Михайловичу Ромадину. Иду и мысленно представляю себе его картины, этюды, наброски, которые сейчас увижу. Тогда еще Паустовским не был написан очерк о творчестве художника, но сейчас рассказывать о картинах Ромадина без него нельзя. Помнится, я поднимался к Николаю Михайловичу и как раз думал об одной из его картин, о которой Паустовский вскоре ска- зал так:

«На первом плане написана дощатая терраса. Окна на террасу настежь распахнуты в белую ночь. На стуле около брошенной постели желтоватым огнем горит керосиновая лампа. Видно, что человек проснулся, не вы-

держал загадочной власти белой ночи, встал и ушел в луга. Они видны за окнами — все в непонятном сумрачном сиянии белого неба, в отсветах дальних озер, в темной от росы траве. И только где-то очень далеко, на самом краю этой ночи, догорает костер, забытый мальчишками-пастухами.

Тишина. Никто не нарушает медлительного течения этой ночи — одной из тысяч ночей на земле, но все же единственной и неповторимо-прекрасной».

Зрители справедливо находят у Ромадина нечто общее с Левитаном и Нестеровым. Еще до войны Нестеров пришел на одну из выставок Ромадина, долго ходил по залам, внимательно всматривался в каждую картину. Потом подозвал мастера и, взяв его под руку, тихо, чтобы не мешать зрителям, стал говорить о том, что есть в его творчестве и чего ему не хватает.

Нестеров уже тогда почувствовал в нем художника, близкого ему. А Ромадин долго и часто стоял перед картинами Нестерова в Третьяковке.

В последние месяцы войны появилась серия пейзажей Ромадина «Волга — русская река». Для тех, кто любил отечественную природу, кто страдал в разлуке с ней, кто в чудовищных пожарах войны не забывал о родных полях и лесах, для тех картины Ромадина стали откровением. Они успокаивали, они звали в эти леса и поля. Но путь к ним лежал через фронт. И солдаты еще крепче сжимали винтовку.

«Село Хмелевка», «Восход луны», «Золотые листья», «Бурная Волга», «Стадо»... И наконец, «Последние лучи»... Эти картины трудно описать. Не зря Алексей Николаевич Толстой говорил: «колдовская кисть». Их мог бы описать, пожалуй, только Паустовский.

Как, в самом деле, передашь словами все нежное обаяние села Хмелевки, изображенного на ранней-ранней утренней зорьке, когда светло-малиновый закат

словно тонкою кисточкой проводит по линии горизонта, а над слегка позолоченным лучами селом веет запахом меда... Разве можно словами передать то настроение, которое царит в картине «Восход луны», тысячу раз виденной в жизни: на меняющем цвета небе, над полем поржелой травы поднимается розовая луна, предвещающая завтра холодок.

Ромадин написал прекрасное полотно в есенинских местах и признавался мне, что вдохновляли его строки поэта:

В прозрачном холоде заголубели доли,
Отчетлив стук подкованных копыт.
Трава поблекшая в расстеленные полы
Собирает медь с обветренных раки.

С пустых ложин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водю белой пальцы синих ног.

В совершенно иной и все же ромадинской тональности написаны «Последние лучи». Волжские берега вечером. Сосны словно горят от заката. Но чернота уже поднимается кверху, пройдет еще одна минута, две, багряный луч скользнет лишь по верхушкам безмолвных лесных великанов, и все погрузится во мрак... И только костер рыболова всю ночь будет тлеть синеватым дымком, отгоняя докучливых комаров, пока не забрезжит рассвет.

* * *

Совсем уже стемнело, когда я спустился на лифте от Ромадина. И тут встретился с быстро идущим человеком спортивного вида, в морской фуражке, с туго набитым рюкзаком за плечами. В обеих руках он держал по две здоровенные папки.

Это был живший неподалеку Георгий Григорьевич Нисский. Он нес друзьям-художникам наброски, сделанные за день. Я попросил его показать «добычу» тут же, на лестничной клетке.

Еще в 1940-х годах имя Нисского хорошо знали все московские любители спорта. Он был чемпионом-яхтсменом. И многие его полотна как бы хранят свежесть волн и порывистость ветра. А другие передавали ни с чем несравнимую поэзию вечеров на подмосковных водохранилищах.

Когда я думал о Нисском, мне всегда припоминалась его картина «Вечер на Клязьме» (1946 г.).

Кончается трудовой день летней Москвы. Спадает зной. Тело ощущает усталость. В эти часы хорошо побывать на одном из московских водохранилищ. Московскими морями ласково называют их жители столицы. Через какой-нибудь час мы на Клязьминском водохранилище. Уже жемчужно-розоватой стала вода.

От влажного дыхания воды усталость снимает как рукой. Чуть трепещущие от ветра летучие паруса яхт манят вдаль.

Картина исполнена покоя, легкого, радостного ощущения природы, жизни. Победоносно завершилась война. Советские люди заслужили покой и счастье. И талантливый живописец говорит о том, как мы бережем и любим нашу Родину, как счастливо можем и умеем отдыхать, наслаждаться бесконечной красотой родной земли.

Теперь, перебирая в памяти встречи тех лет с Нисским, я вспоминаю и о том, что зрительно ощущал, как с каждым годом лаконичней и выразительней, динамичней становился живописный язык художника. Одна за другой возникали из-под его кисти картины-поэмы о покорении советским человеком стихии, времени, пространства.

Прямое как стрела шоссе прорезает заснеженные холмы, круто спускается вниз, потом поднимается кверху. Темнеют убегающие вдаль леса. По шоссе мчит-ся автобус. Вот промелькнул мостик, осталась позади какая-то остановка. Машина набирает все большую и большую скорость. Картина Нисского — «Подмосковная зима».

Когда-то великий Гоголь писал, что русский человек любит быструю езду. И действительно, кто из нас не знает, не любит это захватывающее ощущение все нарастающей и нарастающей скорости, когда свежий чистый воздух полей и лесов наполняет и ширит легкие, а сердце бьется быстро и восторженно.

А вокруг — Родина... Вон старинная церквушка затерялась среди заснеженного леса. Миновала и исчезла и она, и снова впереди одна лента дороги, да ветер, да ощущение счастья в груди.

О своем видении и восприятии мира сам художник говорил:

«Морские просторы, пройденные на военных кораблях всех флотов, среди замечательных советских морях, исхоженные на лыжах заснеженные подмосковные леса, просторы водохранилищ, ленты каналов, волжские просторы, пройденные вдоль и поперек, Московское и Рыбинское моря, башни шлюзов, залитые светом вечерние вокзалы, стальные сдвоенные нити путей с рубиновыми огнями сигналов, переплеты виадуков и перекидных мостов, окруженных дымами паровозов, — это все новая, измененная волей советских людей география моей Родины. Нужно увидеть, раскрыть ее красоты и показать это миллионам новых людей с новыми мыслями и новыми чувствами, с их бодростью, их лирикой и оптимизмом. Пейзаж Родины изменен, он уже не левитановский — он радостен и мажорен, и нужно увидеть его современному художнику, увидеть его новым чув-

ством, новым сердцем и новыми глазами. И надо сделать его новыми руками, иначе он не будет сегоднешним».

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОНСКУЮ ВЕНЕЦИЮ

Мы плыли на пароходе по Дону в станицу Старочеркасскую. Куда ни кинешь взгляд, повсюду ровные зеленые степи, напоенные солнцем.

— Вас ждет зрелище удивительное, — заметил мой спутник, художник Борис Александрович Плевакин. — Старочеркасская превратилась в своего рода музей. Ведь она была когда-то столицей донского казачества, но с 1805 года ею стал город Новочеркасск. И теперь в станице что ни дом, то музей старины... Впрочем, подробно рассказывать не буду, увидите все сами.

Навстречу нам, сверкая белизной, с шумом проплыл огромный теплоход.

— Из Волгограда! — сказал художник. — Теперь Дон связывает несколько морей и великое число портов. Это и не снилось дедам нынешних донских казаков... А знаете, ведь здесь 8 июня 1820 года с семьей генерала Раевского плыл на шлюпке Александр Сергеевич Пушкин. Его дочери, смуглой красавице Марии, он посвящал стихи...

Значит, Пушкин и Раевские любовались этими же самыми беспредельно раздольными берегами! Уж не тут ли, во время этого путешествия родилось у Пушкина стихотворение «Дон»?

Словно угадав мои мысли, художник спросил:

— А помните у Пушкина?

И мы едва ли не в унисон продекламировали:

Блеща средь полей широких,
Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!

От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.

— У меня в блокноте несколько выписок насчет станиц Старочеркасской, — говорит Борис Александрович. — Вот, например, слова генерала Раевского: «Сей разжалованный город в станицу останется вечно монументом как для русских, так и иностранных путешественников».

— Да, но почему же столица донских казаков была перенесена в другое место? — спросил я.

— Потому, что она стояла в стороне от проезжих дорог, путь к ней лежал только по Дону и далеко не всегда был доступен властям. Скажем, добраться до нее ранней весной, когда таял снег, просто было невозможно... Такая обособленность позволяла казакам жить самостийно, это был своего рода очаг массовых народных волнений. Именно здесь вспыхивали восстания Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева.

— Пушкина, наверно, особо интересовало в Старочеркасской все, что напоминало кипевшую в ней некогда жизнь казачьей вольницы?

— Конечно. И вот что писал по этому поводу наш донской литературовед Анатолий Линин:

«Чем могли покорить душу поэта Дон и Кубань? Стихия борьбы и преодоления препятствий, стихия вольности и устремленности к свету были тем поэтическим пламенем, в озарении которого жил и творил Пушкин. Край, не смирившийся в ограничении своей вольности, край, ненавидевший рабство... не мог не оставить ярких впечатлений в душе поэта».

Но вот мы причалили к пристани, а вот и первые дома станицы, стоящие по обе стороны широкой улицы. Дома старые, могучие, почти все на подклети, на высоком нижнем этаже или срубе, нежилом и служащем, как видно, складами разных хозяйственных вещей. Не-

которые дома на высоких столбах, во второй жилой этаж ведут лестницы и крыльца.

— Дон широко разливается в половодье, и станица превращается в настоящую Венецию, — говорит художник. — Какое красивое это зрелище!

— Вы называли Старочеркасскую Венецией. Это вы сами придумали ей такое название?

— Ничего подобного. Термин давно уже бытует в литературе, появился, думаю, еще в восемнадцатом веке, если не раньше, и называли станицу так русские и иностранные путешественники, которые побывали и у нас и в Венеции. Да вот и подлинные слова на сей счет историка Владимира Дмитриевича Сухорукова — его знал и ценил Пушкин. «Иностранные путешественники сравнивали ее с Венецией». Я бы сказал, с Венецией русской, именно с донской Венецией. Ведь у нас цвет воды не серо-голубой, как в итальянской Венеции, а светло-изумрудный от стоящих на берегу ветел. Необыкновенное оживление царит на пристани, пестрящей множеством судов. А по улицам станицы, подобно венецианским гондолам, чуть не мимо окон проплывают лодки, большие и малые, с шумной молодежью. Но взгляните направо.

Древний дом, крепкий, кражистый, закопченный от пожаров. На стене мемориальная доска: дом, по преданию, принадлежал казачьему атаману Кондратию Булавину... А это что такое? Какой-то герб или печать? Изображает сидящего на бочке полуголого усатого казака с ружьем в руках.

— Это гербовая печать Войска Донского. Ее резал на серебре мастер Кремлевской оружейной палаты Левкин. А легенда о ней такая.

Петр I увидел здесь однажды пьяного казака, по пояс голого. В руках тот крепко держал ружье. Царь спросил у него, отчего он не пропил и ружья. Хмельной казак, не поднимая головы, ответил, что с оружием он

государю и Войску Донскому честь и славу добудет, да и одежду у врага отнимет.

Царю пришлось по душе слова воинственного казака, и по его приказу была учреждена гербовая печать Войска Донского с изображением сидящего на бочке полуголого казака с ружьем в одной руке и полным рогом в другой.

Слева еще один дом-крепость — Жученковых. Двухэтажный, каменный, массивный, с глухими подвалами. Окна замкнуты железными ставнями.

— В прошлом веке таких домов в станице насчитывалось до двадцати восьми. Этот, не правда ли, должен был надежно охранять казацких старшин, какими и были Жученковы, от восставшей голытьбы. Между тем известно, что Кондратий Булавин из таких вот домов сумел выбить всех станичных старейшин и его казаки с ними тут же расправились.

Я еще раз осматриваю странный, закопченный дом Кондратия Булавина, и мне смутно мерещатся толпы народа, слышится глухой шум... Но впереди — крепость.

— Воздвигнута в семнадцатом веке! Валы земляные, башни-каланчи деревянные, ров заполнялся водой. А со стороны Дона стена каменная. Служила одновременно для защиты от реки в половодье и от врагов с юга, имела четверо въездных ворот: Прибыляньские, Московские, Богоявленские, Радиславские. В 1708 году в Черкасск — так называлась тогда казачья столица — через Прибыляньские ворота вступил Кондратий Булавин с отрядами восставших казаков. А однажды — это было позднее — пушки крепости открыли оглушительную пальбу. На Дону против крепости остановилась славная царская флотилия, построенная на Воронежских верфях. Это шел во второй, победоносный азовский поход Петр I. Черкасские пушки — их называли «раскатами» — салю-

товали в честь рождения русского военно-морского флота. Вот они, эти орудия.

Давно отгремела пальба, и заржавленные пушки навсегда присмирели. Но сколько дум они навевают и как оживляют воображение! Художник садится зарисовывать крепость, а я иду на майдан — станичную площадь. Тут собирався Донской войсковой круг, и в 1670 году на нем выступал Степан Разин. Обедневших казаков он звал, как гласит старинная грамота, «притти во град Москву и всех князей и знатных людей и все шляхетство российское побить... и черным людям дать свободу».

Казаки выносили тут приговоры и заслушивали решения стоя, держа в руках шапки.

Красочный это был обряд, судя по древним гравюрам и описаниям. На самой середине круга стоял войсковой атаман. По обе стороны — есаулы. Над атаманом развевались бунчуки — знаки войскового достоинства — длинные древки копий с пышными лошадиными хвостами. Есаулы держали перначи и насеки. Пернач — булава с медным шаром на конце символизировала власть атамана; насека — трость с отметинами по числу лет правления атамана. Особо почетными считались насеки со многими зарубками — ведь атаман выбирался Донским войсковым кругом ежегодно.

Один из есаулов выступал вперед и говорил: «Помолчи, атаманы-молодцы, атаман наш войсковой трухменку гнет».

«При этих словах, — писал историк-краевед В. Егоров-Хоперский *, — все умолкали, атаман снимал свою шапку и держал речь. Трухменкою называлась серая папаха из туркменского каракуля с красным шлыком».

* В. И. Егоров-Хоперский. Сокровища старого города, Ростов-на-Дону, 1968.

В. Егоров-Хоперский приводит любопытнейший документ — своего рода протокол Черкасского войскового круга за 1690 год. Проведав, что на берегах Медведицы и Хопра казаки начали сеять, круг вынес приказ: чтобы никто «земли не пахал и хлеба не сеял, а если станут пахать и того бить до смерти и грабить».

Так донские атаманы весьма строго следили за тем, чтобы казаки не превращались в оседлых мирных землепашцев, ибо этим ослаблялся вольный воинский дух.

Хранят старые, выцветшие бумаги и гневные слова, которые произносила на кругу голытьба, взявшая на тот раз верх:

«Черкасских природных казаков всех побить и пожитки их разграбить».

Но вот другой документ, датированный 1708 годом, — донесение посланного на расправу с булавицами князя Долгорукого:

«В Черкасском было повешено около Круга Донского и против станишных изб около 200 человек».

Войсковой круг занимался и весьма «мирными» делами: принимал особо отличившихся в скачках юношей в казаки; распределял государево жалованье и воинские трофеи, называемые «зипунами»; выслушивал царские и воеводские наказания; выбирал и наряжал посольства в Москву и другие города.

Давно умолк майдан, отшумели беспокойные казачьи голоса войскового круга. И только дома с замшелыми стенами, стоящие вокруг, кажется, еще чутко прислушиваются к чему-то.

...Вдали возвышается церковь. Подходим ближе. Это девятикупольный Воскресенский собор — главный храм Войска Донского до перенесения столицы в Новочеркасск. В архитектурном облике его чувствуется что-то от украинского барокко и от московского церковного

зодчества. И это понятно. Походное, беспокойное бытие казаков, а в старые годы и набеги южных соседей не способствовали выработке своего, устойчивого стиля архитектуры. И потому казаки охотно заимствовали его и у Москвы и у Киева.

Иконостас церкви ничем не уступал знаменитому величием и красотой иконостасу Успенского собора Троице-Сергиевской лавры под Москвой.

Покрытые позолотой резные колонны его создавали иллюзию сплетенных листьев и гроздьев винограда. Мотив виноградной лозы вообще был чрезвычайно характерен для донского искусства, и неудивительно — ведь здесь повсюду растет виноград. Колонны мерцали в полумраке собора и, уходя ввысь, красиво контрастировали с потемневшими иконами старинного письма.

Многие из предметов искусства Черкаска можно видеть теперь в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике и в Новочеркасском музее донского казачества, где художником как раз и работает Борис Плевакин.

Очень богатой была тут ризница. Русские цари и царицы, атаманы и старшины наполняли ее драгоценными сосудами, ковшами, золотой утварью. Тут хранилось немало сокровищ, отбитых казаками в турецких и персидских походах. А ценнейший старинный образ Иоанна Предтечи украшала риза с такой надписью: «Эта риза сооружена старо-черкасским обществом из всех медалей и крестов, которые присланы были на раздачу воинским чинам за взятие Парижа и Варшавы, за Персидскую и Турецкую войны, но не розданы победителям за смертью их». Воины, награжденные за храбрость, не получили наград — они умерли от ран. Родные же их пожертвовали золотые и серебряные медали и кресты на украшение войскового храма.

До недавнего времени у главных Западных дверей собора висели кандалы и цепи. Ими был прикован Степан Разин к стенам старого деревянного собора, стоявшего раньше на этом месте. Казацкие старшины вделали их в стену нового храма, чтобы «устрашать» голутвенных (неимущих казаков, голытьбу), напоминая им о трагической участи народного вождя. Цепи уцелели и перенесены в музей.

«Паперть — каменная летопись «высоких вод» — так называется одна из главок книги Василия Егорово-Хоперского. В ней рассказывается интересный факт: на этой вот паперти ежегодно делались отметки уровня Дона во время наводнения на протяжении 200 лет. И каждая высокая вода имела свое название по какому-либо примечательному событию.

1786 год — «Краснощековская» большая вода. Называлась так в память бригадира Краснощекова. Он умер, и его более двух месяцев не могли похоронить, — половодье размывало кладбище. Уровень воды был более четырех с половиной метров, «присутственные места» выехали из Черкаска в Аксайскую станицу.

1845 год — «Сунженская» большая вода. Тот год памятен жителям станицы царским указом о переселении 400 казачьих семей с Дона на кавказскую реку Сунжу.

1849 год — «Хомутовская» вода. Впервые донским атаманом стал иногородний казак по фамилии Хомутов. Событие для здешнего края необычное. Уровень воды 4,81 метра. Из 994 домов станицы уцелело 50.

Год Великой Октябрьской революции — 1917-й. Год небывало «высокой воды» — 5,15 метра.

1929 год. «Средняя» вода. Уровень — 4,75 метра.

За все 200 лет, как свидетельствуют отметки, самая высокая вода стояла в 1917 году.словно буйный Дон ликовал вместе с народом, навсегда сбросившим цепи рабства.

Прощаясь со станицей Старочеркасской, городом-музеем, поднимаемся на колокольню. Вдали степи, степи. Наряду с выдавшими виды домами-крепостями, в вишневых садах — разноцветные нарядные домики сегодняшних жителей станицы. А жерла старых черных пушек на паперти бывшего собора все еще направлены на юг, в сторону задонской степи. И вспоминаются слова Суворова: «Храбрость, стремительный удар и неутомимость донского войска не могу довольно выхвалить».

СОДЕРЖАНИЕ

В о к р у г к н и г

Заколдованная либеря	10
История моего дома	29
Нави Волярк	45
Гимн Читинского острога	69
Откуда пришел вий?	90
Трагическая ночь	95
Неизвестный художник, друг Полежаева	107
Перстень Вeneвитинова	119
«Нет, никогда поклонничеством низким...»	132
Живая речь XVII века	145
Туфли Бориса Годунова	152

В с т р а н е и с к у с с т в а

Пермские чудеса	160
Каприз императрицы	177
Замок чародея	183
Пропавшие картинки	188
«Черная дама»	193
День на Масловке	199
Путешествие в донскую Венецию	213

Осокин В. Н.

О-75 Пермские чудеса: Поиски, тайны и гипотезы./М.: Мол. гвардия, 1979. — 222 с., ил. — (Компас).
40 к. 100 000 экз.

Это книга о писателях и художниках, о том, как раскрываются неизвестные доселе, важные моменты творческих биографий, как разыскивают исчезнувшие шедевры отечественной культуры. Читатели узнают, почему Екатерина II повелела уничтожить великолепное творение архитектора Важенова, кто автор превосходного портрета опального Полежаева и о многом другом. Василий Осокин — автор повестей и рассказов о Ломоносове и Викторе Васнецове, о памятниках искусства.

О 70803—178
678(02)—79 219—79. 4800000000

P2

Для среднего и старшего школьного возраста

ИБ № 1694

Василий Николаевич Осокин
ПЕРМСКИЕ ЧУДЕСА

Редактор **Е. Калмыкова**
Художник **А. Романова**
Художественный редактор **К. Фадин**
Технический редактор **Г. Каплан**
Корректоры **Г. Василёва, Т. Песнова**

Сдано в набор 27.12.78. Подписано в печать 08.06.79. А04651.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 9,8 + 8 вкл. Учетно-изд. л. 10,2. Тираж 100 000 экз. Цена 40 коп. Заказ 2282.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

40 коп.



ЗАГАДКИ, ГИПОТЕЗЫ, ПОИСКИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПАФОС ОТКРЫ-
ТИЯ — ВСЕ ЭТО МОЖЕТ СОСТАВИТЬ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ТОГО, В КАКОЙ ОБЛАСТИ
НАУКИ ВЕДЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ...

И. Андроников

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ